

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
СОВЕТСКИЙ ВОИН



ГЕННАДИЙ ПОЖИДАЕВ

БЕРЕЗА НА ТРОПЕ

ГЕННАДИЙ ПОЖИДАЕВ

БЕРЕЗА НА ТРОПЕ

(Повесть о военном детстве)

Главное
политическое управление
Советской Армии
и Военно-Морского Флота



№ 7 (734) 1978 год

Основана в 1942 году.
Выходит один раз в месяц

© Советский воин, 1978 г.



Об авторе

Предлагаемая читателю повесть Г. Пожидаева «Береза на тропе» не плод воображения журналиста. Трудное военное детство героя книги — это во многом биография самого автора, воспитанника детского дома.

Когда началась Великая Отечественная война, Геннадию Пожидаеву было восемь лет. Но детская память с большой ясностью запечатлела события тех дней. Видимо, не случайно Г. Пожидаев решил посвятить жизнь армии. Он закончил Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева. Правда, пробудившаяся в детстве любовь к книге и музыке внесла известные поправки в его биографию. В 1957 году Г. Пожидаев опубликовал в журнале «Советский воин» свою первую песню, а спустя пять лет в журнале «Юность» — первый музыкальный очерк «Путешествие в страну Симфонию». С 1964 года — военный журналист.

Любимая тема Г. Пожидаева — музыка. Читатели хорошо знают его по книгам «Страна Симфония», «Д. Б. Кабалевский», «Повесть о танце», «Рассказы о музыке», «Чайковский в Риме» и другим. Г. Пожидаев — член Союза композиторов СССР.

Посвящаю моим сыновьям

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней.

Л. Толстой

У БЕРЕЗЫ

(Вместо пролога)

С березы упало семя. Оно легло между травинками на лесной тропе как раз в том месте, где она скатывалась с горки в кювет дороги. Тропа и дорога вились все время рядом, но здесь сходились, так как на пути лежала лощина. Она резала лес на две части, совком сползая к реке. Через лощину был перекинут старый, заросший бузиной каменный мост.

Семя дало росток в тот год, когда началась большая война, а может, и чуть раньше. На дороге при-

бавилось повозок, машин, а на тропе — людей. Они были сильно озабочены, одеты кое-как и несли на себе узлы, котомки, рюкзаки.

Молодой побег разделил тропу на два рукава. И как бы ни были хмуры люди, они замечали деревце и бережно обходили его.

Шло время. Однажды летом здесь появилась стайка ребят. Молодую березку, стоявшую посреди тропы, они, конечно, заметили. Она была с них ростом, стройная, с тонким коричневым стволом, острыми, чуть клейкими темно-зелеными листочками. Один из мальчишек наклонил гибкий ствол почти до самой земли, а потом отпустил, наблюдая, как деревце быстро и с шумом выпрямляется. Другой небрежно заломил веточку вверх. Влажная кожица лопнула, но сама веточка только перегнулась, чуть треснув вдоль волокон. Мальчишка махнул с досады рукой и пошел дальше.

Мы были детдомовцами. Приехали из Поволжья сюда, под Москву, на новое место жительства. Шел последний год войны. Нам не приходило в голову, что судьба наша чем-то схожа с судьбой этой самой березки. В наше детство ворвалась война. Мы многое узнали раньше своих лет, но нам еще не дано было понять, почему взрослые особенно бережны ко всему слабому, юному, почему они берегли эту заблудившуюся на перепутье дорог березку, которую мы при первой встрече чуть не сломали. Мы этого не знали, как и не знало само деревце.

Мы выросли. Выросла с нами и березка. И теперь, когда я бываю в том доме на высоком берегу Москвы-реки, ставшем навсегда родным, я каждый раз останавливаюсь у нее. Уже подходя, ищу взглядом среди деревьев стройный, густо усыпанный снизу чер-

ными точками, словно грибная ножка, ствол. Гармонии гибких ветвей-рук, держащих связки слегка колыхаемых ветром и как будто позванивающих зеленых бус, нарушает вид одной ветки. Плавно отойдя от ствола, она неожиданно круто поворачивает вверх. На фоне неба резко обозначается неподвижный острый сгиб, словно у согнутой в локте руки. И маленькие веточки на этой ветке растут как на дереве, обступая ствол со всех сторон и стремясь вверх.

У этой березы по-иному думается. Присев на траву и прижавшись спиной к теплomu стволу, словно к спине товарища, я вспоминаю далекие дни и стараюсь воскресить звуки и образы давно отшумевшего детства, навсегда отмеченного печатью войны.

ПИСЬМО

Далекий уральский поселок в десяток домов утонул в глубоких снегах. Кругом горы, поросшие лесом, между ними петляет белой ровной низиной река Уфа. Тихо. Сюда не может долететь гул войны. Но мы очень хорошо знаем, что война идет, из-за нее-то и оказались здесь.

Сегодня в нашем третьем классе царит необычный подъем. Учительница русского языка Ксения Петровна объявила, что будем писать письма на фронт.

— Одно условие,— сказала она,— письма отправим только написанные чисто и без ошибок. Считайте, что это ваша контрольная работа. Бойцы на фрон-

те должны знать, что мы учимся хорошо и не подведем их.

Многие ребята сразу взялись за дело. Это те, кто знал, кому писать, у кого кто-то был на фронте — отец или старший брат, дядя или даже мама. Витька Полуэктов, например, писал своему отцу-танкисту, а Борька Борисов — матери, она у него военврач. Те же, у кого от родных не было никаких вестей или они погибли, задумались. Все мои родные — мать, отчим, брат и сестра — остались за той чертой, где был фронт, и я с первого дня войны ничего не знал о них. Меня эвакуировали на восток из-под Киева, где я был в интернате в местечке Пуща-Водица.

Итак, я решал очень сложный вопрос: кому написать — летчику, разведчику или снайперу? После долгих колебаний решил написать лучшему снайперу. Все-таки он самый меткий человек, а меткость я ценил больше всего на свете. И я написал неизвестному снайперу о себе и просил побольше уложить фашистов из своей винтовки.

Письма собрали, учительница их тут же проверила. Ошибок сделали мало, потому что мы спрашивали, как пишутся трудные слова. Сегодня это разрешилось.

Вот наши письма сложены треугольничками, осталось написать адреса. Я взял адрес у соседа по парте Витьки Зубкова. Его отец был политруком в стрелковой части. Я считал, что снайперы там обязательно должны быть.

И наши письма полетели на фронт. Сколько времени прошло с того момента, не знаю. Не все получили ответы. Не было и мне письма, хотя я его очень ждал. Оно стало сниться мне по ночам — большой и

толстый треугольник. Но чем дольше я ждал, тем больше понимал, что не дождусь. Такое маленькое письмо послать на такую большую войну! Ведь нет даже фамилии, кому оно написано. И кого заинтересует письмо незнакомого мальчика? У каждого фронтовика есть свои родные. И вообще, получать письма — это не для меня. Никто и никогда мне их не присылал.

Однажды вечером в нашу группу принесли последнюю почту. Дежурный выкрикивал фамилии и протягивал ребятам конверты. Я слушал внимательно — интересно, кто сегодня счастливчик. Вот в руке дежурного осталось последнее письмо. Он еще ничего не сказал, только странно взглянул на конверт, а потом на меня.

Я испугался и отвернулся. И тогда мне в спину словно ударил звонкий голос дежурного, назвавшего мою фамилию. Я вздрогнул, не поверил своим ушам. Мне письмо? От кого? Ведь я же никому точно не писал. Я обернулся. Не шутят ли? Но дежурный не шутил. И в следующую секунду толстый треугольник уже был в моих руках.

Страшно взволнованный, я сунул письмо в карман и, не вынимая руки, чтоб оно как-нибудь не потерялось, выбежал из комнаты. Надо было прийти в себя. Значит, обо мне на фронте знают, думал я, значит, не забыли, значит, есть такой снайпер, который решил поговорить со мной о своих боевых делах! Значит, я живу на свете не зря, если мне пишут с самой передовой! Так думал я, спеша по коридору в свою спальню, где наконец развернул письмо.

Бумага была чуть пожелтевшая, в ученическую клеточку и пахла, как мне показалось, дымом и по-

рохом. Несколько страниц исписаны простым карандашом.

Бойцы благодарили меня за письмо. Оказалось, что они долго решали, кому его вручить, но так и не договорились. В части было много хороших снайперов, и каждому хотелось получить такое письмо. Поэтому посчитали его общим и от имени всех решили написать мне ответ. Бойцы рассказали мне самые интересные эпизоды из своей фронтовой жизни. Был такой, например, случай. Несколько раз фашисты бросались в атаку на наши позиции, но отступали, теряя своих солдат и офицеров. Однако силы были неравные, и вот уже от взвода осталось в живых несколько человек, и те ранены. Немцы почувствовали, что наших мало, и залегли поблизости, готовясь к решающему штурму. Беда была в том, что боеприпасы у красноармейцев кончались, а подкрепление все не шло. И тогда один боец снял с себя валенок, и, как только враги поднялись в атаку, бросил этот валенок в них. Фашистов охватил такой страх от неизвестного предмета, летящего в них, что они в панике бросились назад, к своим окопам, ожидая страшного взрыва. Взрыва, конечно, не последовало, но наши выиграли несколько минут, которых хватило, чтобы успело подойти подкрепление.

Этот эпизод ужасно развеселил меня. И от всего письма веяло такой бодростью и теплотой, что я сразу позабыл все свои печали. Десятки раз перечитывал я это необыкновенное фронтовое послание, мое первое в жизни письмо. С этого дня я понял, что все мы на этой войне сделали одной большой семьей, стали родными и что я уже не одинок на свете.

ВТОРОЙ ГОЛОС

По детдому мгновенно разнеслась весть: участники художественной самодеятельности поедут с концертом в военный госпиталь. В школе, в столовой, в спальнях только и было разговору, что об этой поездке. Сразу заважничали и выросли в наших глазах детдомовские чтецы, танцоры, певцы.

Эх, попасть бы тоже в госпиталь, неотступно крутилась в моей голове мысль, повидать раненых красноармейцев, поговорить с ними. Но как это сделать? У меня не было никаких талантов. Танцевать? В паре с девчонками? Несерьезное занятие. Петь? Это можно, если бы взяли в хор. Там никто тебя не слышит, пой как хочешь.

Но в хор, кажется, уже набрали. Потом всех желающих все равно не возьмут. Отобрали тех, у кого хороший слух. Интересно получается. Кажется, шепни мне за версту — услышу. Но этого, выходит, еще мало. Так учительница и сказала: в хор берем только тех, у кого хороший слух. Какой же им еще надо?

Уроки пения проводились в столовой детдома, которая одновременно служила и клубом. В дальнем углу столовой была сооружена сцена, которая закрывалась темно-серым занавесом. Здесь стояло пианино. Мы заносили на сцену стулья и рассаживались сбоку и сзади от учительницы.

...На этот раз мы пели уже знакомые, разученные песни. И когда исполнили первую песню, учительница вдруг обратила особое внимание на Пашку Приходько. Она поставила его поближе к себе и после

того, как мы спели первый куплет другой песни, сказала, широко улыбнувшись:

— Вот это то, что я так искала! Настоящий альт! Будешь, Паша, петь партию второго голоса в нашем хоре. Встань сюда. — Она ласково взяла Пашку за руку и поставила справа от себя.

Пашка покраснел от удовольствия. Мы тихо ахнули. Значит, Пашка поедет в госпиталь. Вот кому повезло! Надо сказать, что и внешнею Пашка был самым приметным в классе. Он был выше всех ростом, черноглазый, чернобровый и белозубый. Волосы у него вились и задирались вверх смоляным чубом. Настоящий артист. Только у Пашки был один недостаток, и довольно крупный для артиста: он заикался. Пашка говорил, что его зашибла лошадь, брыкнула ногой в живот, и в доказательство задирает рубаху и показывает выбитый копытом посреди живота большой кривой шрам. Зрелище было впечатляющим. Но как умудрился Пашка петь и не заикаться, да еще как петь — вторым голосом, это была для нас загадка. И это становилось сейчас равносильно геройству.

И меня заело. А чем его голос лучше, чем наши? Подумаешь, басит, подделываясь под взрослых. Не он один хочет поехать в госпиталь.

Чувствуя легкий приступ злости, я пересел из второго ряда в первый. Набрал побольше воздуха и неожиданно для себя легко запел прямо Пашкиным голосом.

Голова учительницы от неожиданности дернулась, но куплет мы допели до конца. Она медленно повернулась, посмотрела на нас поверх очков, стараясь определить, кто же пел. Глаза ее скользнули по мне,

но не остановились. Она не могла подумать, что это пел я, самый маленький по росту в классе.

— Давайте повторим куплет, — задумчиво сказала она и взяла аккорд.

Я решил, что надо облегчить учительнице поиски меня, и незаметно придвинулся еще ближе, сев почти за ее спиной. Ребята, кажется, начали что-то подозревать, и я не без труда втиснулся между ними.

Во второй раз я как следует нажал на свой голос, стараясь изо всех сил басить. Но и ребята нажали. Они догадались, что я хочу вырваться вперед. Из-за этого учительница опять ничего не поняла. Она взволнованно посмотрела на нас и сказала:

— Ребята, не надо так громко петь, а то у вас заболит горло. Пойте лучше потише, но выразительней.

На этот раз запели потише. Но тут я их всех обманул. Рванул так, что сам чуть не оглох. Это было очень трудно, крик тянул на тонкую ноту, а я хотел во что бы то ни стало петь басом.

Теперь учительница не выдержала. Оборвав куплет наполовине, она обернулась назад. Посмотрела на меня, и в глазах ее отразилось полное недоумение.

— А ну-ка, Женя, подойди ко мне, — сказала она не очень решительно. — Давайте, ребята, еще разок споем. И ты пой.

Теперь мне было куда легче, не надо было кричать. Да и ребята, видно, сдались. Все-таки слышали, что я пел басом. Наклонившись почти к самому уху учительницы, я старался петь «с выражением». Это давалось уже с трудом, голос сел, охрип. Но куплет все-таки был благополучно спет до конца.

Учительница повернулась и посмотрела на меня

так, как будто бы нашла неожиданно-негаданно большой алмаз:

— Ну, молодец, Женя! Признаться, я не думала, что найду еще в вашем классе альт. Он ведь такая редкость. Иди становись рядом с Пашей, будете петь партию второго голоса.

Она мягко положила руку мне на плечо и довольнo улыбнулась.

Я сделал невозможное. Я это понял. Но потерял голос. Стоя рядом с Пашкой, я не пел, а только открывал и закрывал рот. Пашка смотрел на меня с нескрываемым удивлением.

...Через несколько дней ясным морозным утром у столовой выстроился целый санный поезд. Детдомовская самодеятельность отправлялась в госпиталь. Ребята, столпившиеся на высоком крыльце, завистливыми взглядами провожали нас. Мы с Пашкой важно сидели в середине саней на пахучем, душистом сене.

Как все-таки хорошо, что у нас с Пашкой обнаружился этот самый второй голос. Хотя, честно говоря, я так и не усвоил себе четко, что же это такое.

Артиллеристы

Одно из главных наших удовольствий зимой было катание на лыжах с горок. Недостатка в склонах разной крутизны для самых робких и для самых смелых не было.

Я, новичок в катании на лыжах, при малейшем ускорении терял равновесие и, как ни упирался ва-

ленками в крепления, падал назад. Но постепенно научился. Нигде, наверное, так быстро не научишься чему угодно, как в ребячем коллективе. Под придирчивым взглядом сверстников храбреешь и многие трудности преодолеваются как бы шутя.

И скоро мой главный судья Вовка Глушкин, одноклассник и одноклассник, стал больше заботиться о том, чтобы самому не проехать трудный спуск хуже меня. Между нами постепенно завязалось негласное соперничество. Где проезжал Вовка, там проезжал и я, и наоборот. Если один падал, второй должен был во что бы то ни стало проехать и удержаться на ногах. Когда всем классом прыгали с самодельных трамплинов, мы замечали отметки концов лыж только друг у друга.

Однажды забрались мы с Вовкой по извилистой укатанной тропе почти до самой дороги, что шла высоко над детдомом и соединяла какой-то большой военный завод со станцией. Не знаю, как Вовка, но я с затаенной робостью думал о стремительном спуске между деревьев, который нам предстояло преодолеть. Не уступать же Вовке, если он надумает съехать с самого верха.

В это время со стороны дороги послышался какой-то странный звук, как будто стонал человек. Мы замерли. Стон повторился. Мы поспешили наверх и увидели неожиданное зрелище: три красноармейца в белых маскировочных халатах тащили по дороге пушку. Стонали они. Это был крик, похожий на стон: «Раз, два — взя-а-а...»

Мы представили себе, какой они совершили путь по крутым подъемам и спускам, и ужаснулись. Тут и налегке было не просто ходить. Видно, они не знали, что это за дорога. Она была короче, но и намного



труднее другой, более ровной, идущей к станции. Конечно, эшелон отходил в строго назначенный срок, их ждать не смогут, поэтому они беспрерывно тянут и тянут, падая, поднимаясь и снова падая, уже совсем обессиленные.

Лица у бойцов были красные и мокрые от пота. Мы с Вовкой оцепенели от этого тяжелого зрелища. Наверное, это и есть война, когда даже у взрослых не хватает сил.

— Вовка, — крикнул я, — беги к ним, помоги, а я слетаю за старшими ребятами!

— А ты съедешь? — с сомнением спросил Вовка, удивленно глядя на меня.

— Попробую. — И я, не подумав о том, что меня ждет, помчался по тропинке вниз.

За каждым поворотом деревья набегали прямо на меня, но откуда-то появившаяся отчаянная злость спасала, я делал резкие и, к своему удивлению, точные повороты. Со страшной скоростью меня вынесло к школе. Свернул в сторону и попытался затормозить, но не сумел и, несколько раз перевернувшись, залетел в глубокий сугроб. Глаза залепило снегом. В последний момент почувствовал, что сломалась правая лыжа. Еле выбрался на дорогу, болела подвернувшаяся нога. Не обращая на нее внимания, побежал в спальный корпус.

Ребята, узнав в чем дело, сорвались с мест, схватили пальто и шапки и побежали наперерез в гору, на дорогу. Я поковылял следом.

Артиллеристы сначала отгоняли нас от пушки, но потом сдались, увидев, как мы горим желанием помочь. Мальчишечья орава облепила пушку, и так все вместе тащили мы ее почти бегом до самой станции. Здесь пушку уже ждали. Сильные мужские руки под-

хватили ее и по накату втащили на платформу. Артиллеристы поблагодарили нас и каждому вручили по звездочке, сняв их прямо с шапок.

— А как же вы без звездочек? — спросил кто-то из ребят.

— Не волнуйтесь, старшина по такому случаю другие выдаст, — весело ответил один из артиллеристов.

Счастливые, пошли мы домой. С Вовкой с этих пор мы стали неразлучными друзьями.

ПЕСНЯ

Утром 8 марта, во время завтрака, когда все собрались в столовой, мальчики подавали девочкам, учителям и воспитателям поздравительные рисунки, открытки и разные самодельные подарки, которые втайне от девочек делались вечерами. А во время ужина сами воспитатели и учителя преподнесли нам сюрприз. Сегодня ведь был праздник мам, а их не было с нами, поэтому, наверное, решили взрослые сделать все, как дома.

Был устроен чай, на столы подали пироги с черникой. А потом директор детдома Вера Андреевна объявила, что воспитатели и учителя подписались на заем и каждому из нас подарят облигации. И в самом деле, нам тут же вручили по двадцатипятирублевой облигации. На каждой из них было написано чье-то имя.

Под конец чая выступили с чтением стихов ребята, а затем маленький концерт дали сотрудники дет-

дома, что тоже было для нас необычно. Они тоже читали стихи, пели небольшим хором и даже танцевали под прихлопы в ладоши. Было весело, все смеялись над их комичными ужимками.

Но вот поднялась с места воспитательница младшей группы Валентина Николаевна, высокая женщина с открытым приятным лицом и красивыми каштановыми волосами. Она не хотела выступать, но воспитатели ее подняли, попросив что-нибудь спеть.

Смушенно улыбнувшись и оглядев всех, она вдруг решительно встряхнула головой и негромко запела теплым грудным голосом:

Мы на лодочке катались,
Золотистой-золотой,
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой...

Это было до того неожиданно, что все сразу притихли. Женщина, не стесняясь нас, ребят, нараспев вспоминала о своем, наверное, самом сокровенном, что было у нее на душе. Мне стало даже немного стыдно, как будто нечаянно подслушал тайну взрослых, которую нам не полагается знать. Я совсем забыл, что это песня, и решил, что женщина просто делится с нами воспоминаниями о своей счастливой довоенной жизни. И так доверительно-простодушно было сказано ею: «не качай, брат, головой», и при этом она кому-то лукаво улыбнулась, что у меня не было никакого сомнения, что она говорила о себе.

И вдруг, смахнув грусть, женщина усмехнулась, повела плечами, подняла руки, словно собираясь пуститься в пляс, и бросила в зал легкую скороговорочку:

В лесу, говорят, в бору, говорят,
Растет, говорят, сосенка,

Понравился мне, девице,
Молоденький мальчонка...

А это уже была, конечно, песня. Но опять не мог я отделить ее от поющей женщины. Пусть песня, но сочинила ее все же именно эта женщина, прямо сейчас, встав из-за стола, а может, чуть раньше, когда раздумывала о своей жизни. Уж очень чистосердечно поверилось мне всему, о чем она пела...

Я не знал, что эта песня уже давно была на свете. Но, наверное, даже хорошо, что не знал. Благодаря этому я, может быть, еще очень смутно, но уловил самое существенное: именно так и рождаются песни — как трепетное признание в том сокровенном, что рвется из души. И поэтому песню нельзя придумать, она может только сама излиться из переполненного сердца.

НОЖИК

У Владика, сына нашего завуча, был прекрасный перочинный ножик, предмет ребячей зависти. Когда к Владiku кто-нибудь подходил просить ножик, чтобы отточить карандаш, Владик всегда минут пять ломался, но давал всегда. В школе ни у кого не было такого ножика, с зелеными перламутровыми боками и двумя лезвиями, маленьким и большим.

И однажды Владик самым нелепым образом лишился своего сокровища.

На уроке у меня сломался карандаш. Дождавшись перемены, я, конечно же, помчался к Владiku

в соседний класс. Он стоял с ребятами у окна, в дальнем углу и о чем-то говорил. Парты его были почти у двери. Я представил себе, как буду сейчас кланяться у Владика ножик, и мне расхотелось идти к нему. Не успею заточить карандаш, и перемена кончится. И тогда в голове неожиданно созрел план: незаметно взять ножик, а потом так же незаметно положить на место.

Вообразив себя разведчиком, который крадется за «языком», я пополз к парте Владика. Добрался, быстро протянул руку к выемке в парте, где лежал ножик, схватил его и, низко пригнувшись, выскочил в коридор. Заглянул в класс. Никто даже не заметил, как я проделал эту операцию. Здорово!

Я вышел на крыльцо и начал точить карандаш. Рядом, у деревянной пожарной лестницы, крутились какие-то незнакомые мальчишки, не детдомовцы. Когда они увидели у меня ножик, то просто замерли от восхищения. Я небрежно чинил карандаш, делая вид, что, мол, у меня еще не то есть. Когда карандаш был отточен, один из ребят, длинный и белобрысый, попросил испробовать ножик на палке. Я не стал ломаться, как Владик, и дал ножик. Пока мальчишка строгал палку, я заскочил в класс, чтобы посмотреть, не спохватился ли хозяин. Нет, все было спокойно. Но когда вернулся назад, мальчишек и след простыл.

Внутри у меня что-то оборвалось, на лбу сразу выступил холодный пот. Кинулся за дом — никого. В это время зазвенел звонок. Опустив голову, я пошел на свое место, не глядя в сторону четвертого класса, где учился Владик. В голове неотрывно вертелось: что будет? что будет?

И вдруг за стеной раздался душераздирающий крик. Все вскочили с мест. Я один знал — это Владик. Крик и плач не прекращались. Минуты через три в класс заглянула завуч — мать Владика и попросила всех выйти в коридор. Тут уже сбилась в кучу вся школа. Ребята крутили головами, спрашивали, в чем дело. Завуч сказала:

— Кто из вас взял ножик Владика, верните!

Все удивленно зашумели. Учителя стали спрашивать своих учеников. Я хотел было открыть рот и признаться, что взял, но не виновен в пропаже, но тут же с ужасом подумал: а чем докажу, что не виноват? Взял ведь без разрешения. И кто поверит, что унес-ли ножик мальчишки? Потребуют назвать их, а я даже не запомнил толком ни одного. В общем, положение создалось безвыходное.

Владик продолжал плакать. Опять заговорила его мать:

— Я обещаю подарить тому, кто вернет ножик, другой, еще лучше. Этот ножик для Владика память об отце... Отдайте! — голос у завуча дрогнул.

О, если б я мог вернуть этот несчастный ножик! От волнения у меня чуть не подкосились ноги.

Потом нас стали по одному вызывать в классы. Дошла очередь и до меня. Ксения Петровна тихо и спокойно спросила, глядя мне в глаза, не брал ли я ножик. Как мне хотелось сказать ей «да», поделиться своим горем, потому что это было и мое горе. Но в последний момент я заколебался. Ведь нужен ножик, а не признание. А я не знаю, где он. И Владику легче от этого не станет, и мне попадет за то, что так долго молчал и заставил всех страдать. И я мысленно похоронил в душе и ножик, и признание, а Ксении Петровне, вздохнув, сказал, что не брал.

Осада не могла продолжаться долго, все твердо сказали «нет». Тихо переговариваясь, разошлись по классам, а плачущий Владик пошел домой.

Минуло несколько дней. Все успокоились и, кажется, забыли про злополучный ножик. Только Владик уже не был таким веселым, как прежде. Даже похудел. Я не мог спокойно на него смотреть.

Но как же разыскать этот ножик? В школе учились немало детей сотрудников детдома и других жителей поселка, и я их всех хорошо знал в лицо. Значит, те мальчишки учились в другой школе, только жили в этом поселке. А может, и жили не здесь, лишь случайно забрели сюда в тот самый день? Однако покажи мне этих ребят сейчас, я бы, пожалуй, кроме фигуры белобрысого, никого и не признал.

И каждый день в одиночку стал я бродить на лыжах около домов поселка, стараясь как-нибудь встретить его. Но эти вылазки ничего не дали. Белобрысый, видно, здесь не жил. И надежды мои угасали.

Однажды мы решили с ребятами сбегать на лыжах на станцию, которая была в километрах трех от детдома. Мы любили смотреть на поезда. В одну сторону на платформах везли орудия, танки, в теплушках ехали красноармейцы. В другую сторону тащилась разбитая техника, почти целые фашистские танки. Когда поезд останавливался на нашей станции, мы ухитрялись забираться внутрь этих железных махин, находили в них пустые гильзы, а иногда и целые патроны. А один раз обнаружили даже дохлого петуха. Не успели фрицы поживиться награбленным и отправились на тот свет, не отведав курятинки.

Насмотревшись на поезда, как будто побывав на фронте, мы тронулись в обратный путь. И здесь, неподалеку от станционной будки, на крыльце небольшого деревянного дома я увидел смутно знакомую фигуру. Сердце заколотилось. Не совсем уверенный, что это тот, кого я искал, я остановился в нерешительности, не зная, что предпринять. Ребята спросили, чего я стал. Если бы это точно был тот самый мальчишка, который похитил ножик Владика, мы бы сейчас сообща быстро разобрались с ним. А если не он? Тогда и тайна моя раскроется, и его зря поколотят, а потом и мне за все добавят. И ножика все равно не будет.

Я сказал ребятам, что зайду попить воды, пусть едут — догоню. Они тронулись по лыжне дальше, а я медленно поехал к дому. Ноги почему-то ослабли, стали плохо слушаться.

Белобрысый мальчишка стоял на крыльце, сложив на груди руки, и спокойно смотрел, как я приближаюсь. Он был в черном вязаном свитере, черных брюках и серых подшитых валенках. Когда между нами осталось несколько шагов, он вдруг переменял свою позу, сунул руки в карманы и нахмурил беледые брови. Ага, значит, узнал меня! Ну, тогда и я его узнал.

Он соскочил с крыльца и оказался на голову выше меня и плечами пошире. Я сразу пожалел, что отпустил ребят. Но отступить было нельзя. Я снял лыжи.

— Чего тебе надо? — спросил белобрысый, надвигаясь на меня грудью.

— Сам знаешь.

— Ничего не знаю, — проговорил он, нагло усмехнувшись.

— Отдай ножик.

— Чего-чего?

— Перочинный ножик, который ты украл у меня.

— Ты, малый, давай не завирайся... Витька, слышишь? — крикнул он в открывшуюся дверь. — Этот пацан требует у меня какой-то ножик.

На крыльце показался мальчишка, тоже светловолосый, только ростом поменьше, наверное, брат. Он засмеялся:

— Ишь чего захотел? Ты ему, Петь, покажи, где раки зимуют. Может, там и ножик лежит?

Я понял, что ножик у них, и они с ним добровольно не расстанутся.

— Отдай.

— Иди отсюда, пока не заработал.

От обиды и отчаяния у меня зашипало в глазах.

— Отдай! — крикнул я и с силой схватил белобрысого за свитер. Но тут же получил крепкий толчок в грудь и упал на спину в снег. Не успел встать, как оба брата навалились на меня. Они держали меня за руки и ноги, но я не сопротивлялся, ждал, когда отпустят. Силы были явно неравные.

— Больше не хочешь ножика? — криво улыбаясь, спросил старший, вставая и стряхивая с себя снег. Следом за ним поднялся младший.

— Отдайте, все равно не уйду! — и я опять уцепился за грудь белобрысого.

Он снова толкнул меня. Я устоял, но сделал машинально шаг назад... и оказался в снегу. Младший лег сзади меня под ноги. Они засмеялись.

— Отдай ножик! — Слезы неудержимым потоком полились из моих глаз.

Длинный заколебался.

— А на черта тебе сдался этот ножик? — озадаченно спросил он. — Попользовался — отдай другому.

— Он не мой.

— Как не твой?.. Так что же ты лезешь на нас, как псих?

— Ножик сына нашего завуча.

— Ну и что из этого?

— Память об отце... погиб на фронте.

— Так что ж ты молчал? — Белобрысый озадаченно посмотрел на меня. — Чего не сказал сразу?

— Так бы ты и отдал.

Белобрысый помрачнел. Потом вдруг повернулся к брату, который опять зашел мне за спину, готовя подвох.

— Ну чего мудришь? Быстро тащи ножик!

Витька исчез за дверью и тут же вернулся с ножиком в руке. Я сразу узнал его, красавца с зелеными перламутровыми боками. Белобрысый взял ножик, подержал в ладони, словно взвешивая, потом осторожно, будто это была драгоценность, протянул мне:

— Бери. Был бы твой, не видать бы его тебе... Хорошая штука.

Он вздохнул. Злости в его лице уже не было, была лишь тихая грусть. Он прощался с ножиком.

Мокрый с головы до ног, медленно тащился я домой. Но на душе была удивительная легкость. Ребята поразились моему виду, когда я зашел в нашу спальню. Но еще больше изумились, когда увидели ножик.

На следующий день сияющий Владик, как и прежде, одалживал всем свое сокровище и при этом обязательно немного ломался.

ЛЕДОХОД

Пришла весна. Мартовский снег подтаивал и оседал, вспыхивая на солнце тысячами разноцветных искр. В воздухе сильно пахло талой водой. Скоро по тропинкам стало почти невозможно ходить, ноги проваливались в маленькие синие проруби.

Наконец вся территория детдома, полого наклоненная к горе, превратилась в бурлящие, сверкающие потоки снеговой воды. У подножья горы они собирались в глубокий овраг, и все это, круто изменив направление движения, бешено мчалось к реке.

Уже почти вся земля очистилась от снега, солнце заметно грело и на буграх зазеленели первые всходы травы, а Уфа все еще не могла сбросить свой тяжелый панцирь. Лед вздулся горбом, покрылся длинными трещинами, но упорно держался словно припаянный к берегам. Далеко вокруг веяло от реки холодом.

Мы с волнением ждали начала ледохода, который обещал необыкновенное зрелище, без конца бегали к реке дозорные и сообщали, что там происходит. Но ничего существенного пока не происходило. Только бы не прозевать самого начала, думали мы. И все-таки прозевали.

Было обеденное время, все сидели в столовой, которая размещалась в самой верхней части территории детдома. Вдруг откуда-то послышался сильный треск и скрежет. Он проник даже через двойные рамы окон столовой. Такого сильного шума в нашем тихом лесном краю не бывает, если не считать гроз. Но за зиму мы отвыкли и от гроз. Этот гром можно было сравнить только с войной, с пушечной канона-



дой. И многие вздрогнули от этих грозных звуков. В одно мгновение мы поняли, что это ледоход, побросали еду и бросились к реке.

Лед уже шел, все более ускоряясь, горбясь и теснясь, словно большое перепуганное чем-то стадо. Скрежеща боками, льдины сжимали друг друга, наваливались сверху, подминали под себя, выскальзывали, вставали на ребро, крошились и переворачивались, показывая просвечивающие изумрудом и изъеденные, словно сотами, днища.

Берега были тесны, и льдины, ломая припай, выбрасывались на берег. Идущие сзади разворачивали их и снова толкали в строй. Над рекой стоял несмолкаемый шум, треск, скрежетанье, какой-то шорох, шипение, журчанье и бульканье. Некоторые льдины несли на себе человеческие следы и следы зверей, встречались куски санной дороги с желтыми колесами, навозом и пучками потерянного сена.

Ледоход представлял из себя зрелище живописное и захватывающее. Эта непокорная сила была нам по характеру, у нас тоже был избыток энергии, который искал себе выхода. Но самое главное — ледоход походил на сражение. В кипении льда мы видели кипение боя. Это наши войска гнали проклятых фашистов с советской земли. Иначе быть не могло!

ПИОНЕРСКАЯ КЛЯТВА

К Первому мая был намечен прием ребят в пионеры. Принимали тех, кому исполнилось десять лет. Мне было девять, и поэто-

му я не мог рассчитывать на это, а стать пионером и носить на груди алый галстук страшно хотелось. Пионеры считались взрослыми ребятами, с ними уже по-другому разговаривали, давали серьезные поручения.

И вдруг ко мне приходят и спрашивают, сколько мне лет. Оказалось, что не могут найти мои документы, то ли здесь затеряли, то ли забыли передать, когда меня привезли сюда. Такой случай мог представиться только раз в жизни, и я сказал, что мне исполнилось десять лет. Я считал, что такую маленькую неправду можно простить. Сколько ребят, я слышал, скрывали свой возраст, чтобы попасть на фронт или выполнять работу взрослых.

Начались волнующие дни подготовки к вступлению в пионеры. Нужно было выучить наизусть пионерскую клятву. Я ходил с бумажкой по двору и твердил про себя гордые и торжественные слова. В этом было что-то романтическое, как будто посвящение в храбрость, отвагу, верность. Отныне перед всеми я обещал быть по-рыцарски великодушным, справедливым, защищать слабых и наказывать обидчиков. Это была младшая сестра военной присяги: я обещал ненавидеть врагов. Жаль только, что бить их еще не мог.

И вот наступил этот памятный день. Нас было пятеро, и мы чувствовали себя именинниками. Но было и страшновато, ведь надо читать клятву со сцены, перед полным залом. А вдруг забудешь слова? Тогда позор и в пионеры не примут.

После полдника в столовой начали раздвигать столы, расставлять стулья. Сначала должна была быть торжественная часть—доклад о Первом мае и

прием в пионеры, а потом концерт художественной самодеятельности.

Доклад я почти не слышал, твердил клятву и был очень взволнован предстоящим. Потом нас попросили на сцену. Мы стали по росту лицом к залу и по очереди наизусть говорили текст пионерского обещания Родине. Я был самым маленьким и читал последним. В зале было полутемно, лиц зрителей почти не видно, и от этого становилось немного легче.

Нам повязали галстуки. Улыбки сдержать было невозможно. Потом прозвучало звонкое «Будьте готовы!» — «Всегда готовы!».

На концерте я не остался, хотелось побыть одному. Вышел на улицу и невольно зажмурился от яркого солнца. Пошел вниз, к реке. Теплый ветер играл концами галстука, который так и горел на солнце.

У самого берега реки деловито копались в земле черные грачи. Носы у них отшлифовались от постоянной возни в земле и были белыми. Да, весна пришла! И какое чудесное сочетание: Красный Первомай, красный галстук и весна-красна!

Не помню точно, о чем думал я тогда, глядя в текущие воды реки, о чем мечтал. Но, конечно, о том, чтобы скорей наши разбили фашистов, о том, чтобы когда-нибудь попасть в Москву, побывать на Красной площади, в Мавзолее Ленина. Я верил, что это сбудется. Но кто мог мне тогда сказать, что через много лет, когда я вырасту, у меня будут свои сыновья и их примут в пионеры в Москве, в Центральном музее Вооруженных Сил нашей страны, в зале Победы, у легендарного знамени Победы, водруженного над поверженным Берлином!

ИГРЫ

Долгими зимними вечерами любили мы играть в домино. При свете керосиновой лампы рассаживались вокруг стола и азартно стучали черными костяшками. В этой игре были у нас свои «профессора». Например, Даня. Невзрачной внешности, худой, сутулый, с бледным болезненным лицом, желтыми птичьими глазами, некрасивым большим ртом с тонкими губами он преображался в игре. Взгляд становился пронизательным, выражение лица умное, невозмутимое. Даня почти не проигрывал, если попадался более или менее сносный партнер.

Играя с ним, я, новичок в домино, больше всего боялся сделать неправильный ход. Надолго задумывался, перебирая варианты и соображая, кто на чем играет, и, вконец запутавшись, ходил прямо противоположно нужному. Даня чуть усмехался, но ничего не говорил и спокойно искал выхода из почти безнадёжного положения.

Даню уважали за умение играть в домино. В играх же, где нужна была подвижность, ловкость, сила, он участия не принимал. А эти игры, конечно, преобладали и среди них, в первую очередь, громогласные сражения. Военное время наложило отпечаток на наши игры.

Очень любили драться на мечях. На чердаке конюшни хранились дранки для обивки стен. Мы лазали за этими дранками, подбирали поровней и выстругивали из них мечи. Выходили команда на команду. Некоторые вооружались и щитами. Это были

круги с ручками от кадок и бочек, что стояли по углам домов для сбора дождевой воды с крыш.

Когда надоедали мечи и камыш на берегу реки был уже крепок, наступала война дротиков. Становились на некотором расстоянии друг от друга и кидались этими дротиками.

Одной из самых любимых была игра во «всадники». Выходили на зеленый бугор возле школы и делились на две команды. Боевой единицей считался конь и на нем верхом всадник. Конями были старшие ребята, всадниками младшие. Пара выходила из сражения, если всадник падал на землю или хотя бы коснулся ее рукой или ногой. По сигналу команды сходились, и всадники начинали стаскивать друг друга с коней.

Моим неизменным партнером был Борис Борисов, худой и длинный четвероклассник. Физически он был слабее других, но на редкость упорен и устойчив на ногах. Я был легкий, поэтому он со мной очень быстро передвигался. Это был наш главный козырь.

— Борис, — говорю я ему перед началом атаки, — как только сблизимся, заходи справа за спину противнику, а я его за шиворот стащу на землю.

Обычно так и получалось. Борис медленно подходил, потом делал резкий рывок вправо, я цеплялся за воротник рубахи всадника и тянул на себя. Конь и всадник спиной валились на землю. Бывало туго и нам. За меня крепко ухватывались и тянули. Я слышал, как Борис начинал тяжело сопеть, а лицо его наливалось кровью. Мне становилось жалко его, я знал, что он раньше умрет, чем упадет. Тогда я бросался на противника, и мы оба летели на землю. Коням только оставалось отпустить наши ноги. Это была боевая ничья.

Пожалуй, чаще всего играли в шишки. Тоже делились на команды, одна оборонялась, другая наступала. Набивали за пазухи и в карманы крепкие, смолистые еловые шишки и расходились. Обороняющиеся прятались в лесу. У наступающих было право маневра: могли заходить во фланги и тыл, разбиваться на отдельные группы. Лучшим бойцом здесь считался Валька Жуков, веснушчатый, тощий и длиннорукый. Его шишки летели примерно вдвое быстрее наших и даже свистели. В открытом бою Вальку никто победить не мог, шишки он кидал очень метко. Его можно было взять только осадой с нескольких сторон.

Однажды, выскочив на поляну, на другом конце ее я увидел Вальку. Мы были противниками. Я понял, что бежать назад, за дерево, поздно: припечет, как зайца. Отступать было некуда, и я решил дать Вальке бой. Он ехидно улыбнулся, показав большие зубы, и спокойно полез за шишкой. Я бросил свою, она описала дугу, чуть перелетев Вальку. В ответ пулей просвистела его шишка. Я почувствовал, что от меня требуются чудеса увертки, а не меткости. И я, как мог, уворачивался от Валькиных пуль, ожидая подмоги. Все же одна из моих навесных шишек нечаянно попала Вальке в ногу. Я воспрянул духом, кричу ему: «Становись на колено, ты ранен!» Валька скривился, но сел. Теперь силы и меткости у него побавилось, но я все равно не решился приблизиться к нему. Дуэль наша разрешилась неожиданно. На поляну выскочили двое наших и добили «раненого» Вальку.

Взрослые, конечно, не могли пройти мимо наших игр. И они решили поставить это дело на широкую ногу. Военную игру планировали задолго до ее нача-

ла. Почти весь детдом делился на «синих» и «белых» (на «красных» и «белых» делиться никто не хотел). План игры разрабатывал сам военрук Иван Данилович, недавно вернувшийся с фронта и носивший черную повязку на одном глазу.

Самым удобным для организации боевых действий взрослые посчитали равнинный, заросший не очень густым лесом противоположный берег реки. Но, пожалуй, самым сложным делом в этой игре была переправа нас на ту сторону. Каждую лодку сопровождал кто-нибудь из старших. Хотя Уфа здесь неглубокая, пароходы и баржи не ходили, но течение было довольно быстрое.

Сначала переправлялись «белые», с белыми повязками на рукавах. Они везли с собой белое знамя, которое «синие» должны были найти и отбить у них. В рукопашной схватке побеждал тот, кто сумел сорвать с руки противника его повязку.

И вот мы, «белые», переправились на другой берег и пошли в глубь редкого леса, перебиваемого большими полянами. По пути маленькими группками прятались в кустах, закрывая центр и фланги. Самые крепкие ребята пошли со знаменем дальше.

Мы с Борисом облюбовали заросль молодой черемухи и спрятались в ней. Стали ждать. Через полчаса должны были начинать наступление «синие». Но прошло много времени, а «синие» не появлялись. Я стал считать до шестнадцати. Никто не появился. Тогда еще раз посчитал, затягивая паузы между числами. Если и на этот раз никого не будет, решил я, то мы с Борисом начнем есть ягоды черемухи, которые заманчиво чернели у нас над головой. Никто опять не появился, и мы полезли на дерево и стали рвать уже немного переспелые ягоды. Они были кис-

ло-сладкими, вкусными, но вязали рот и налипали на язык. Скоро губы у нас стали черными.

Вдруг слышались крики «ура», они неслись из нашего тыла. Мы обернулись, к нам бежали ребята с синими повязками. Подбегая к нам, крикнули: «Сдавайтесь, знамя в наших руках!» Так мы с Борисом бесславно отвоевались. Оказалось, «синие», переправившись через реку, пошли не прямо, а сделали глубокий обход и зашли в наш тыл, быстро обнаружили штаб и захватили знамя, имея большой перевес в силах. Попытка наших отобрать знамя не удалась, так как мы были слишком далеко разбросаны по лесу.

Весь вечер в детдоме все говорили об игре, «синие» очень гордились своей победой, словно они победили на настоящей войне.

Но утром следующего дня нас ждало ошеломляющее известие. Мы делали зарядку на площадке около школы под руководством Ивана Даниловича. Вдруг откуда-то появилась Вера Андреевна, а из всех корпусов спешили к нам сотрудники и ребята, которые не были на зарядке. Все столпились в нетерпеливом ожидании. Вера Андреевна высоким взволнованным голосом объявила, что наши войска разбили под Курском и Белгородом фашистскую армию и что сегодня в Москве в честь этой победы будет произведен салют, первый салют в Великой Отечественной войне. Мы кричали «ура» и прыгали от радости, у многих на глазах появились слезы.

Как хотелось перелететь туда, где шли бои, и своим участием в сражениях ускорить нашу победу. Мы ведь не только играли в войну, мы учились быть полезными фронту. Изучали в школе военное дело, знали средства и способы химической защиты. Все ребята сдавали экзамены на значок ГСО — «Готов к

санитарной обороне». Учились оказывать первую помощь раненым и всяким пострадавшим, делать искусственное дыхание, различать все степени ожогов и обморожений, переносить раненых и перевязывать их. Наука перевязки оказалась очень интересной, здесь были свои правила. Особенно трудной считалась перевязка головы.

Мы гордились своим умением и были уверены, что и в таком возрасте могли стать полезными на фронте, мы были готовыми маленькими бойцами и санитарами.

Мы и вправду, как могли, помогали фронту. Собирали разные лекарственные травы, шиповник и хмель. Вся жизнь наша была повернута к тому, чем жил в те дни каждый советский человек.

ЛЕС

Лес — одна из самых больших радостей, которые даются человеку. А что говорить о лесе нашего военного, полуголодного детства — нашем поильце, кормильце, нашей отраде, месте отдыха, игр и всяческих затей! Может, поэтому, когда произносят слово природа, я прежде всего вижу перед собой лес.

...Летом, после завтрака, а часто и до него, если не было неотложных полевых работ, мы уходили в лес. С банкой, кружкой или с берестяным лукошком бродили в нем по несколько часов.

Лес был полон ягод, на каждую приходил свой сезон. Первой поспевала земляника, красная, в то-

чечках, словно сделанных булавкой. На полянах она мелкая и сладкая, в тени же леса — крупная и созревает там позднее. Но зато, найдя в высокой траве у дерева одинокую, темную от переспелости земляничину, бываешь вознагражден вдвойне: ягода не только сладкая, но и необыкновенно ароматная.

Позже поспевала черника. В лесу ее было много. Быстро набрав установленную норму — пол-литровую банку — и ссыпав ее в ведро, которое носила воспитательница, мы баловали себя пригоршнями прохладной кисловато-сладкой ягоды.

Черника растет на кустах, которые длинными плетями ложатся на мох. Покрытые голубым налетом, ягоды прячутся внизу, поэтому куст надо поднимать. Каждая ягодка цепляется к кусту отдельно, и, усыпанный черникой, он кажется голубым.

Рубиновыми камешками, вставленными каждый в свою оправу, сверкают в траве ягоды костяники. Она приятна на вкус, но слишком велики для такой мелкой ягоды ее твердые семена, напоминающие виноградные косточки.

С удовольствием ходили за царицей ягод — малиной. Мягкая и темная ягода снимается с куста от одного прикосновения пальцев маленькими полыми мешочками. Она тает во рту, награждая почти медовой сладостью и легкой кислинкой.

Бруснику в сосновом бору собирали с мшистых чокек. С этой ягодой расправляешься бесцеремонно. Она красная, мелкая и твердая, словно горошек. Проведешь рукой снизу вверх вдоль маленького брусничного деревца с твердыми и блестящими, словно у фикусов, листочками, и набирается почти полная горсть ягод.

Особая страсть у нас была к сбору грибов. У темных мохнатых елей под красными опилками опавших иголочек нередко встречаются крепкие, как орех, белые грибы. Они частенько растут целыми семействами. Один, словно сторожевая будка с темно-коричневым верхом, стоит снаружи, а другие тихо сидят под кровлей слежавшихся иголок, иногда выдавая себя круглыми бугорками.

Толстые и важные подосиновики очень нескромно торчат из кочек, за версту сверкая своими мандаринового цвета шляпами. Когда их срываешь, они почему-то сразу начинают синеть, как будто сердятся на тебя за такое бесцеремонное обращение.

Бродяги-подберезовики на худых ножках убегают от своих опекунов — берез куда глаза глядят. Их можно встретить у любого дерева, в чаще и на поляне.

Благородные белые грузди величиной с блюдце, отдуваясь, лежат животами прямо на земле. Ножки у них чуть видны. В вогнутых шляпках почти всегда собирается вода, в которой плавают иголки, кусочки сухих листьев и другой мусор. Здесь и муравьиный водопой.

То тут, то там назойливо лезут в глаза сыроежки. Шляпки их окрашены в самые разные цвета: синие, красные, желтые, розовые, фиолетовые, зеленые. Но есть их сырыми совсем не хочется.

Лес никогда не надоедал. Он до бесконечности разнообразен. Темные, дремучие вековые ели, стоящие вперемежку с серебристоствольными и мягкоиглыми пихтами, сменяются стайками осин с вечно трясущимися, словно от страха, круглыми листочками. Просторный сосновый бор с волнистым ковром длинной, чуть полегшей травы и участками кочек, засы-

паннных брусникой, соседствует с шумной и светлой березовой рощей. Чаше же всего деревья в лесу смешиваются в самых разных сочетаниях. Снизу вверх растения образуют несколько ярусов. Сначала подымается высокая трава, потом идут кустарники, молодые деревья, осины, березы, пихты, ели, и надо всем этим качаются в синеве неба могучие и стройные корабельные сосны. Говорили, что такие сосны еще во времена Петра Первого применялись при постройке кораблей. Может, поэтому они казались нам высоченными мачтами прекрасных, невиданных парусников. Они и в самом деле скрипели, как будто мачты, когда ветер раскачивал их далекие зеленые макушки.

Особую красоту придавал лес горам. Покатая вершина тянувшейся вдоль Уфы горы, на которую мы любили забираться, поросла высокими соснами. Здесь, на склоне, устроили лесосплав. Наверху лесорубы валили деревья, обрубали сучья, распиливали на бревна и толкали их вниз по специальному деревянному желобу. Бревно страшно разгонялось, но перед самой водой желоб заканчивался, и оно, по инерции вспахивая песчаный берег, затормаживалось и плавно вползало в воду.

Лес немало страдал и от нас. Весной, когда появлялся сок у берез, мы приходили с самодельными ножиками, пилками и надрезали кору. Вставляли в отверстие соломинку или желобок из коры и подставляли какую-нибудь посудину. За ночь посудина наполнялась прохладным и чуть сладким березовым соком.

В это время года березы особенно гибки, и мы устраивали «парашютные» десанты. Добирались до вершин молодых берез, отталкивались от ствола ногами и опускались на землю, держа вершинку в ру-

ках. Бывало, вершинки обламывались, и незадачливые парашютисты валились на землю.

Лес хранил и первые маленькие наши тайны. С ним можно разговаривать, как с живым. В лесу мы не чувствовали себя одинокими. Знакомые деревья понимали тебя с полуслова и согласно кивали ветвями. А думать было о чем. И главные мысли были о войне.

ВЕРА АНДРЕЕВНА

Однажды наша воспитательница Лидия Ильинична сказала, что меня вызывает к себе директор детдома. Удивленный неожиданным вниманием и размышляя, что бы это значило, вошел я в директорский кабинет. Вера Андреевна, высокая полная женщина с белым лицом, темно-русыми гладко зачесанными назад волосами и большими серо-голубыми глазами, встретила меня очень приветливо.

— Женья, я хотела с тобой поговорить об одном важном деле, — сказала она, как мне показалось, немного смущенно. — Скоро мы возвращаемся в Москву, и всех ребят разберут их родственники. Наш детдом расформируется.

У меня перехватило дыхание. Неужели попаду в Москву? Хоть бы взяли туда и отдали в какой-нибудь московский детдом, ведь там есть детдома.

Вера Андреевна немного помолчала, как будто в нерешительности, а потом тихо сказала:

— Ты не москвич, и у тебя никого нет. — Вера Андреевна сделала паузу, внимательно посмотрев мне

в глаза. — Я хочу тебя просить, чтобы ты остался жить в моей семье.

Она улыбнулась и продолжала:

— Вот короткая справка обо мне: детей нет, муж на фронте. Жить тебе у нас будет хорошо... Иди в группу и подумай о моем предложении, а потом дашь ответ.

Она положила мне на плечо свою большую теплую руку и, подведя к двери, повторила: «Подумай».

Я был в восторге: меня усыновляет сама директорша! Веру Андреевну уважали и ребята и воспитатели за веселый характер и доброе отношение ко всем. Взрослые говорили между собой, что она умница.

Придя в группу, я никому не сказал о сделанном мне предложении, но о переезде в Москву все, оказывается, уже знали. Прослышали вскоре ребята и о решении Веры Андреевны. Отношение ко мне переменялось. В глазах одних я в чем-то вырос, и они начали оказывать мне разные знаки внимания; другие не то завидовали, не то жалели меня; третьи скептически улыбались. Взрослые рассудили по-своему. Как только в детдом привезли новую одежду и обувь, Лидия Ильинична повела меня на склад и подобрала мне красивую куртку и черные блестящие полуботинки.

Я почти не думал о предложении Веры Андреевны. Тут все было ясно. И ребята и взрослые считали это правильным и единственно разумным выходом из сложившегося положения. Я ждал лишь, когда меня пригласят к директору.

Через несколько дней меня вызвала из корпуса медсестра и сказала, что Вера Андреевна заболела и хочет видеть меня. Я пошел в амбулаторию. По дороге впервые задумался, как я скажу Вере Андреевне о своем решении, и вообще, о чем буду с ней говорить. Я же ее совсем мало знаю, ни разу ни о чем

прежде не говорил. А что она думает обо мне? Мы ведь совсем чужие, а я сразу должен буду стать ее сыном, пусть приемным, но сыном и нужно, наверное, называть ее мамой. А я уже отвык от этого слова. И можно ли так — прийти и сразу быть своим в чужой семье? Я уже так привык обо всем своим личным говорить только самому себе.

С трепетом взялся я за ручку двери. Вера Андреевна была одна. Она лежала в халате, немного откинув одеяло. Обычно гладко зачесанные волосы были сейчас просто, по-домашнему прихвачены сзади гребешком. И вся она была какая-то домашняя, задумчивая и спокойная, совсем не такая, какой я привык видеть ее в детдоме. Я представил на миг, что так будет и в Москве, у нее дома, и сердце сжала непонятная тревога.

— Подойди ко мне, — ласково сказала Вера Андреевна, видя, что я в нерешительности остановился у порога.

Я подошел.

— Ну как твои дела? Как идут занятия в школе?

— Ничего, — растерянно буркнул я.

— Видишь, как мне не везет? Вот заболела, — сказала она и вдруг прибавила: — Тебе меня жалко?

— Жалко, — ответил я и против воли чуть отодвинулся. Что-то сдавило в груди и стало тоскливо, как будто заныла старая рана.

— Поцелуй меня, — тихо сказала Вера Андреевна, подставив мне щеку и протянув руки.

В одно мгновение в памяти моей вспыхнуло давнее видение. Мать приехала в интернат, меня позвали к ней. Я прибежал и увидел какую-то незнакомую женщину в шляпе с большими полями и вуалью, закрывавшей лицо. Я не узнал ее. Откинув вуаль, она про-

тянула ко мне руки и подставила щеку для поцелуя. Я испугался чего-то, застеснялся и отвернулся. Я отвык от матери...

Слезы вдруг сами собой полились у меня из глаз. Я прорвал легкое кольцо рук Веры Андреевны и убежал из комнаты...

Я покидал приветливый уральский детдом. Ребята удивились моему отъезду, а Вовка искренно расстроился, сказал, что уже собирался покататься со мной на лыжах с Ленинских гор.

В мой дорожный мешок ребята и воспитатели натолкали столько почти новых штанов, рубашек, маек и даже костюмов, что я был больше похож на какого-то коммерсанта, чем на грустного изгнанника. Только что прошли октябрьские праздники, которые были отмечены большим и радостным событием: наши войска освободили Киев. Эта мысль грела меня все время, пока я собирался, мне казалось даже, что я еду в Киев. Как бы замыкался круг, который я описал с начала войны.

Было жалко расставаться с товарищами, с которыми провел вместе два года — с проникательным Даней, красивым певуном Пашкой, уверенным в себе Валькой, упорным Борисом и, конечно, с Вовкой Глушкиным.

ПАРАНЬГА

Вот уже несколько дней, как я прибыл на новое место. Обычная тоска усиливается полным разочарованием от увиденного. Несколько домиков, похожих на бараки и загороженных невысоким заборчиком, стоят у широкого и глубокого оврага. Под слоем снега на дне оврага угады-

вается изломанная линия небольшого ручья. Детдом находится на краю районного центра Параньга.

Я побывал и в школе, деревянном двухэтажном здании, находившемся в центре поселка. Сегодня воскресенье. Подъем позже обычного. Наша спальня — большая комната, в ней стоят около двадцати железных кроватей. Выйдя из спальни, попадаешь в длинное и довольно широкое помещение, которое почему-то называют клубом. В нем стоят столы и табуретки. В другом конце клуба вход в спальню старшеклассников — ребят пятого и шестого классов. Почти посреди стены клуба стоит большая печь, она одна на клуб и две спальни.

Наконец крикнули: «Подъем!» Многие проснулись раньше, но не вставали. Так бывало всегда в любом детдоме, в любом ребячем коллективе, где длительное время подчиняются определенному режиму дня. Бессмысленно вставать раньше, умываться, одеваться, ведь завтракать все равно пойдешь вместе со всеми.

После завтрака, который состоял из перловой каши, куска хлеба и стакана чуть сладкого чая, ребята занялись каждый своим делом. Для одних дело заключалось в катании на лыжах со склонов оврага, для других — в дежурстве по кухне, заготовке дров. Так предписывал строгий график.

Ко мне подошел Ленька Емельянов, лобастый, зеленоглазый и шепелявый, и буркнул: «Пошли пилить дрова». Я надел шапку, и мы налегке, без пальто, перебежали через двор к сараю.

В небольшом темном помещении пахло сыростью, мокрым деревом. Острый запах щекотал ноздри. Здесь уже были двое. Положив нетолстое бревно на козлы, похожие на букву «Х», они старательно водили

пилой. Управившись с бревном, ребята уступили нам место и пилу. Один из них, увидев, что я без варёжек, протянул свои. Они были мокрые и рваные. С трудом натянув их на руки, я взялся за пилу.

Мне казалось, что нет ничего проще пилки дров: тяни туда-сюда, и все. И, решительно взявшись за деревянную ручку, начал лихо толкать пилу от себя и тянуть на себя. Пила только чуть углубилась в дерево, а руки мои уже заныли от боли. Потом пила изогнулась и застряла. Ленька деловито посоветовал: «Тяни только на себя, легче будет, да и пила перестанет застревать». Жалеет меня, решил я, думает, что не справлюсь, вот и говорит, мол, тяни только на себя. Да я не слабей его. И я так рванул пилу, что она застряла у самой ручки, и я чуть не опрокинул козлы на себя.

Ленька молчал, но я видел, что он не одобряет мои героические усилия. Однако скоро я уже вынужден был тянуть пилу только на себя, так как сил уже не хватало, руки стали бесчувственными, спина зверски заныла, словно кто-то железными щипцами гнул позвоночник. Но самое удивительное — пилить стало легче, пила не застревала, да и я успевал чуть-чуть отдохнуть, пока Ленька тянул на себя. Откуда я знал, что только так и пилят?

Кое-как выполнили мы свою норму. Я не мог разогнуться и чувствовал, что вышел из строя надолго, по крайней мере, сегодня на лыжах уже покататься не смогу. Хорошо, что Ленька делал передышки во время пилки, видя мои отчаянные усилия.

Во дворе я увидел ствол дерева толщиной почти в мой рост и ужаснулся: неужели и это мне придется пилить? Возле бревна возились два старичка в ватниках. Оказалось, что один из них достает из

большой тряпки пилу. Старички были худые и сухие. Но зато опытные, подумал я, и с умилением посмотрел на них: вот мои настоящие спасители.

Когда я вошел в спальню, в клубе вдруг раздался крик: «Смирно!» Я удивился. Что бы это могло быть? Может, кто-нибудь из военных приехал.

Пришел директор. Ребята стояли по стойке «смирно». Директор Михаил Васильевич, высокий, сутуловатый, белолицый, с отвисшими старческими щеками и коротким седым бобриком, молча прошелся по клубу. Заметив меня, подошел, взял холодной рукой снизу за подбородок и, хитровато улыбаясь, спросил:

— Ну-с, молодой человек, как ваши дела? Обжились на новом месте? Нравится у нас или нет?

— Все хорошо, — ответил я, хотя мне здесь все не понравилось по сравнению с уральским детдомом, и особенно природа.

— Так-с, — промолвил директор и, видно, уловив мое истинное настроение, добавил: — Ничего, скоро привыкнете, а коллектив у нас здесь молодой и боевой, понравится. — И директор в полной тишине покинул клуб.

После его ухода снова началась возня и поднялся обычный шум. Стали играть в слона. Один становился лицом к стене, упираясь в нее руками, сзади к нему цеплялись человек шесть, согнувшись и обхватив впереди стоящих за пояс. Получалось что-то вроде сороконожки. Через весь клуб разгонялся самый лучший прыгун из другой команды и, толкнувшись в спину стоявших в хвосте, перелетал к самой стене. Следом за ним запрыгивали все остальные. Под хохот и крики сидящих наверху слон медленно разворачивался и, вздыхая, раскачиваясь и споты-



каясь, брел к печке. Если ему удавалось дойти или верхние валились раньше, чем подкашивалась от тяжелого груза какая-нибудь слабосильная пара ног, команды менялись ролями.

Игру прервал крик через весь двор дежурного по столовой: «Обедать!» Изрядно проголодавшись, мы набросились на болтушку. Это была мутная жижица с редкими крупинками не то манки, не то муки и одинокими картофелинами. На дне тарелки жался крохотный кусочек мяса. Деревянные, основательно обгрызанные ложки быстро опустошали железные миски, куда потом положили ржавую солянку. Обед завершался традиционным стаканом компота. Немного отяжелев от обеда, мы отправлялись по спальням.

«Мертвый» час, как и везде, только назывался «мертвым». Кто разговаривал потихоньку с соседом, кто читал книгу, спрятав ее под одеяло, кто просто о чем-то мечтал, глядя в потолок. Меня мучил вопрос: почему кричали «смирно», когда вошел директор? В других детдомах этого не было. Толкнул лежавшего на соседней койке Леньку и спросил. Он зашептал:

— Это старшие ребята завели такой порядок, они собираются поступать в суворовское училище и хотят сразу привыкать к военной дисциплине. К ним даже из военкомата приходят и проверяют, как они знают военное дело и как учатся.

— А нам можно готовиться в суворовское? — спросил я, сразу загоровшись желанием попасть в училище.

— Можно, только сначала возьмут старших, а потом уже нас.

Ответ Леньки обрадовал меня, и настроение мое сразу поднялось. В этом детдоме ребята дельные, с ними в самом деле будет интересно, решил я.

Вечером, после ужина, ребята собрались у жарко горящей печи. Посреди дивана села наша единственная на всю мальчишечью ораву воспитательница Мария Федоровна. У нее были гладко причесанные на прямой пробор черные волосы, круглые карие глаза и немного опущенный книзу нос. Ребята облепили диван и сели прямо на полу у ног Марии Федоровны.

— Так на чем мы остановились в прошлый раз?— спросила она высоким молодым голосом.

— Вы начали рассказывать про князя Серебряного!..

— Как жили опричники при Иване Грозном!..

— Как один снимал двери тюрьмы плечом!..

Напоминания посыпались со всех сторон.

— Ах так? Ну давайте продолжим, — сказала Мария Федоровна, усаживаясь поудобнее.

И она начала рассказ. Говорила спокойно, обстоятельно, втягивая слушателей в захватывающую историю. В клубе было темно, горела лишь одна лучина — березовая щепка, вставленная в консервную банку. Она стояла на краю стола посреди клуба и позволяла пройти из клуба в спальню, не зацепляясь за столы и табуретки.

На лицах слушателей плясали красные блики огня от печки. Дежурный, стараясь не шуметь, подкладывал поленца. Рассказ шел под аккомпанемент ровно гудящей и изредка стреляющей сырыми дровами печки.

Когда Мария Федоровна закончила рассказ, расхотелось никому не хотелось, слушать бы и слушать без конца, позабыв обо всем на свете. Но режим есть режим, утром в школу.

— Кто завтра дежурный? — спросила Мария Федоровна.

— Я, — ответил сидящий у самого огня широкоплечий, с припухшими веками, пухлыми губами и широким носом старшекласник.

— Мира, проследи, чтобы завтра все младшие в полном порядке отправились в школу, чтобы никто не опоздал, а вечером не забудь показать табели мне и директору. А сейчас все спать! — Мария Федоровна встала. — Надо выспаться, а то будете плохо отвечать. Уговор наш помните? Если получите хоть одну двойку, рассказывать вечером не буду. И еще — не безобразничать. Что вчера Вова Павлов и Женя Ховрин учинили на перемене? Директора сбили с ног! Ребята весело зашумели.

— Я их уже проучил, — сказал Мирка. — Запомнят надолго.

Вчера вечером мы видели Миркино «учение». Прямо перед ним поперек кровати лежал его брат Вовка, а сбоку стоял Женька. Мирка стегал ремнем братца, не забывая время от времени отпустить звонкий шлепок Женьке. Первый орал: «Больше не буду!», а второй при каждом ударе пронзительно взвизгивал: «Ой! Ой!»

Я понял, что о двойках здесь лучше позабыть сразу и навсегда, потому что очень любят ребята рассказы своей воспитательницы.

КРОЛИКИ

Утром отправились в школу. В четвертом классе из детдомовцев учились только двое: девочка Грета и я. У Греты были светлые волосы, собранные в тонкие косички, прямой нос, большой рот с горько опущенными вниз уголками и огромные синие глаза. Они были да-

же не синие, а какие-то морозные, с застывшими кристалликами белого инея. И, конечно, такие глаза могли быть только строгими, холодными. Грета была рассудительная и серьезная, училась хорошо.

Класс был бы ничем не примечательным, таким, как все, если бы не наша знаменитость — Вася. Сероглазый, легкий и быстрый, как кошка. На уроках физкультуры он был совершенно неуловим, бегая с быстротою молнии по кругу. Однако все знали, что врачи строго запретили Васе не только бегать, но и вообще быстро двигаться. У Васи была загадочная болезнь: порок сердца. Но никаких пороков мы за Васей не наблюдали, хоть и присматривались к нему. Наоборот, он самый веселый и жизнерадостный из нас. Секрет своего порока раскрыл нам сам Вася. Он давал каждому желающему послушать свое сердце. Если сердце у нас билось четкими ударами, то у Васи оно как будто шипело и журчало. Это и был порок, который ни Вася и никто из нас пороком не считал. Васю приходили слушать ребята из других классов и тоже удивлялись необычному звуку его сердца.

Когда мы вернулись из школы, перед самым обедом ко мне подошел Мирка и сказал:

— Слушай, тебя, кажется, Женькой зовут? Приноси с обеда корку, мы все тут подкармливаем кроликов, жрать-то им зимой нечего.

Что ж, все так все. Добросовестно обглодав черную корку у своего куска, так что она стала просвечивать, я понес ее после обеда кроликам.

Кроличьи клетки стояли между складом и нашим корпусом. Мирка уже был тут, принимал от подходивших ребят такие же честно обглоданные корки и делил их между кроликами.

Мирка был добровольным главным попечителем кроликов. Он мог часами возиться с ними, кормить, давать им грызть палки, чтобы они точили зубы, старательно чистить клетки. Кроликов он любил до слез. Когда в клетке появились маленькие крольчата, директор, к огорчению ребят, запретил держать их в клубе. Мирка лил настоящие слезы, когда перетаскивал своих питомцев на улицу, думал, что они обязательно замерзнут. Но оказалось, что малышам мороз нипочем. У них же теплые меховые шубки. Давай им только теплую подстилку и больше ничего не надо.

Сегодня Мирка был в особенном расстройстве чувств. Подопечных развелось много, они стали большими, и прокормить их уже было не просто. Да и в столовой давно не пахло крольчатиной. Мирка сидел, понурившись, на полянке перед клетками. Пора уже было вытаскивать жертву на белый свет. Братцы-кролики, ничего не подозревая, тыкались между проводочными прутьями клетки своими толстыми подвижными носами, чем-то поразительно похожими на Миркин нос, и ждали от своего заступника, вероятно, новой порции корок.

Наконец Мирка решился, открыл дверцу клетки, схватил за задние лапки удиравшего от него большого голубого самца, очевидно почувствовавшего неладное, и вытащил его наружу. Также держа его за задние лапы, понес к стене дома, прихватив короткую толстую палку. Минуту постоял, глядя, как дрыгается невинная жертва, потом оглянулся, словно ища помощи. И мы увидели, как по щекам Мирки капали слезы.

— Шурка, не могу, убей! — крикнул он подходящему к нам длинному веснушчатому и рыжему мальчишке, своему однокашнику.

— Эх ты, паря, слабак еще в коленках! — презрительно ухмыльнулся Шурка, показав большие и редкие, со щербинкой, зубы. — Ну-ка дай сюда, я вам покажу, как нужно с этой тварью расправляться!

Шурка перехватил кролика за лапы и с силой ударил палкой по голове. Кролик дернулся и пронзительно, как ребенок, закричал. Шурка ударил еще раз, и кролик затих.

— Вот как надо работать, — самодовольно сказал Шурка и бросил кролика в снег. — Теперь сдирай шкуру.

Мирка с расстроенным лицом подошел к кролику.

ДРАКА

Шурка любил командовать. Мог любого младшего послать за водой или дровами. В случае неповиновения давал крепкого подзатыльника. Тому, кто мешался ему на дороге, мог отпустить звонкий щелчок в лоб. Со своими сверстниками отношения у Шурки были сложными. Умный и дипломатичный Юлик не оспаривал его первенства в силе, но давал понять, что голова у него устроена более удачно. Юлик был круглым отличником и, кроме того, чемпионом детдома по шахматам. Феликс Букин нажимал в основном словами, мог горячо спорить, доказывая свою правоту в словесной дуэли. Однако физически он был слабоват и, размахивая руками перед носом противника, коснуться его не решался. Виталий Ляхов был далек от борьбы за первенство в группе. Коренастый, крепко сложенный, он применял свою силу на то, чтобы смастерить ка-

кую-нибудь безделушку. Другие старшеклассники в расчет не брались, так как были явно слабей Шурки.

Мирка стоял особняком в этой группе. Шурка относился к нему свысока, насмехался над ним, поддразнивал, как будто испытывая Миркино терпение. Но Мирка словно не замечал этого, лишь легонько отталкивал назойливого пристава. Миркино невнимание и непочтение оскорбляло рыжего Шурку. Был только один способ покончить с этим раз и навсегда и установить более четкие отношения, но Шурку, видно, сдерживали внушительные, не по росту широкие плечи Мирки и ясно очерченные мускулы на его руках.

Однако у Шурки был боевой характер. Была в нем и жестокость. И вот однажды, когда он дал ни за что одному малышу подзатыльник и тот стукнулся об угол стола и ободрал себе лоб, подошел Мирка:

— Слушай, а нельзя ли поаккуратнее с ребятами? Смотри, башку пацану ободрал.

— Чего ты нарываешься? — покраснев от злости и ущемленного самолюбия, сорвался Шурка. — Не получал, что ль?

— От тебя-то? — удивленно протянул Мирка. — Что-то не припомню.

— Что ты из себя ставишь? Съезжу по рылу, сразу вспомнишь.

Шурка явно задибался. И теперь разозлился Мирка:

— Катись отсюда подобра-поздорову, хуже будет.

В ответ Шурка размахнулся и ударил кулаком прямо Мирке в нос. Мирка устоял на ногах, но из носа показалась кровь. В следующее мгновение Шурка уже летел на пол, получив крепкий удар в скулу. Началась драка. Мы прижались к стене. Сердце мое

заколотилось. Я очень хотел, чтобы победил Мирка и проучил как следует нахального рыжего.

Драка была страшная. Ребята бились, не закрываясь, целясь непременно в лицо. У Шурки тоже потекла из носа красная юшка, под глазом вскочил фонарь. Оба дышали тяжело. Спесь с Шурки давно слетела, он все чаще стал уворачиваться от Миркиных ударов, потом начал захватывать его руки. Лицо Шурки залилось краской, у Мирки же, напротив, побледнело, краснели только следы от ударов.

Мирка споткнулся о диван и упал на него. Шурка не остановился и продолжал бить лежачего. Это было против правил. Тогда Мирка, рассвирепев, оттолкнул его ногами, вскочил и дал кулаком такой удар по скуле Шурки, что тот повалился на спину и даже не смог сразу встать.

Мирка стоял над ним, сжав кулаки. Шурка медленно поднялся и, сплевывая изо рта кровь, тихо сказал:

— Хватит, что ли?

Мы поняли: Шурка безоговорочно капитулировал, а в лице Мирки мы получили надежную защиту.

ЧЕМПИОН

Если в уральском детдоме любимой комнатной игрой было домино, то в Паранье увлекались шахматами. В шахматы играли поголовно все. Регулярно устраивались турниры. Победителем турниров неизменно выходил Юлик. У него

были свои чудесные костяные шахматы с черными и белыми точеными фигурами. Это был приз, который Юлик завоевал.

Я сначала только смотрел, как ребята играют, узнал ходы всех фигур и незаметно сам втянулся в это увлекательнейшее занятие. И скоро уже догнал многих ребят. А однажды даже выиграл у старшеклассника. У Шурки. Я удивился, как это вышло, а Шурка был просто обескуражен, он не ожидал, что я уже так наловчился. Но самое главное — было затронуто его самолюбие. Он не любил проигрывать младшим, это, по-видимому, не умещалось в его понятие: старше — значит, сильнее. Но на доске голая сила уже не имела никакого значения.

— Ну-ка, еще сыграем, — сказал Шурка, расставляя фигуры, — как это ты умудрился меня обмануть?

Его веснушчатое лицо с красноватыми глазами стало очень серьезным и озабоченным. Бой протекал на равных, но потом Шурка прозевал мою вилку конем и остался без королевы. Дальнейшее его упорное сопротивление только отдаляло неизбежный конец, но он сражался до тех пор, пока не получил мат.

Теперь я его спросил, так как вдруг стало жалко Шурку:

— Может, еще сыграем?

Не может же быть, решил я, что я и в третий раз выиграю. Но Шурка, покраснев от злости, толкнул шахматы:

— Хватит, хорошего понемножку!

Шурка сдался. Его мнимое величие опять пошатнулось, и от кого — от презренной малышни.

Поиграв еще, я настолько осмелел, что однажды подошел к Юлику и предложил сыграть одну пар-

тию. Юлик удивленно посмотрел на меня, как будто в первый раз увидел:

— С тобой играть? Стану я время терять!

Я был поражен этим ответом в самое сердце. Как же можно отказываться от игры, когда тебе предлагают? Я даже растерялся. Потом сообразил: может, сказать ему, что я выиграл у Шурки, может, он тогда согласится? Но, посмотрев на холодное, непроницаемое лицо Юлика, сразу передумал. Вот они, оказывается, какие, чемпионы! И при всем моем уважении к Юлику я почувствовал глубокое разочарование. Слава портит людей, твердо решил я.

ТЕТРАДЬ

Большее всего в детдоме не любили воришек. Таких были единицы, и знали их наперечет. При поимке на месте преступления лупили нещадно. Но чаще поймать не удавалось, тащили в основном пустяки, безделушки. Попробуй найти, например, уплывший карандаш или ластик. Сколько одинаковых среди них? Однако старались найти, хотели совсем отучить любителей чужого от их постыдного порока. Ни директор, ни Мария Федоровна в эти дела не вмешивались и даже о многом не знали. Суд вершили сами ребята, старшая группа. Познакомился и я с этим «судопроизводством».

Однажды в воскресенье я дольше обычного задержался в постели после «мертвого» часа. Зачитался любопытной повестью, напечатанной в журнале, у которого были выдраны первые двадцать или тридцать страниц. В повести рассказывалось об одном парне, который, работая на Волге на погрузке арбузов, так

наловчился ловить их, что впоследствии, когда его пригласили в футбольную команду, стал знаменитым вратарем. Он не пропустил ни одного гола в свои ворота, мячи как будто липли к его рукам.

Прочитав повесть, я захотел поделиться с кем-нибудь уж очень понравившейся мне вещью. В это время в спальню зашел Вовка Попов и начал как будто что-то искать. Я показал ему журнал и стал рассказывать содержание повести. Вовка заинтересовался и попросил журнал. Однако, повертев его минут пять в руках, вернул мне и тут же вышел. Я положил журнал под подушку и тоже вышел из спальни.

После ужина в спальню вбежал Ленька и крикнул мне:

— Тебя вызывают к старшим.

Лицо у Леньки было такое, что я сразу почувствовал себя неважно. Старшие просто так не вызывают.

В комнате старших у печки сгрудились представители «совета старейшин», который в основном карал провинившихся. Первым начал Юлик, самый мудрый из старейшин:

— Сознайся сразу, где ты взял эту тетрадь. — И он протянул мне тонкую ученическую тетрадь в синей обложке, страшную редкость в нашем детдомовском обиходе. — Будет лучше и для тебя, и для нас.

— Я первый раз вижу эту тетрадь и ничего не знаю, — ответил я, сразу поняв, в чем меня подозревают.

— Не запирайся, — сказал Юлик, глядя на меня своими бесстрастными синими глазами. — Говори всю правду!

— Я ни у кого не брал никакой тетради, — сказал я и почувствовал, что мне не верят.

Вперед выдвинулся Шурка, и я понял, что гуманная миссия Юлика окончена.

— Так вот, гад, эту тетрадь обнаружили у тебя под подушкой в журнале. Не скажешь, у кого взял?

Я молчал.

— Бей его, ребята! — И Шурка ударил меня кулаком в лицо. Боли от ударов я не чувствовал, но заревел от обиды.

Меня вытолкнули за дверь. В спальне я зарылся под одеяло и наплакался вдоволь. Было обидно, что толком не расспросили и сразу бить. И все этот рыжий.

Утром я не стал никому говорить о своем подозрении, но этого не понадобилось. Старшие не успокоились после разговора со мной и, когда все ушли в школу, устроили во всем корпусе повальный обыск. Оказывается, пропала не одна тетрадь. Остальные нашли засунутыми через дырку глубоко в матрасе Попова. Воришка был найден. Вовку вызвали к старшим. Он был повинен вдвойне.

После этого меня встретил в клубе Юлик:

— Ты не обижайся, что немного погорячились вчера. Знаешь, всякое бывает. Но Вовку, я думаю, мы навсегда отучили воровать.

ФРЕДИК

Однажды в послеобеденное время в комнату вбежал встревоженный дежурный.

— Мария Федоровна, у Фредика двойка!

Воспитательница, перебиравшая наше постельное белье, которое сегодня меняли, от неожиданности уронила простыню.

— Мария Федоровна, — чуть не плача, добавил дежурный, — у него в четверти будет двойка, по военному делу!

— Не может быть! У Фредика? Боже мой, как же это так?

Фредик был нашей гордостью. Двойка могла быть у кого угодно, только не у него. Ведь он еще до первого класса прочитал несколько толстых книг.

Перед началом учебного года директор Михаил Васильевич и Мария Федоровна даже держали совет, в какой класс его направить. Такого даровитого ребенка в первый класс просто неловко было посылать. Отправили сразу во второй. Но, к сожалению, Фредик не умел считать даже на палочках, а буквы узнавал только печатные. И учительница со слезами отвела его в первый класс. Слезы ее объясняли по-разному. То ли она замучилась с ним, то ли было жалко расставаться с таким необыкновенным мальчиком.

Как бы там ни было, а в первом классе Фредик должен был сверкать яркой звездой. И он сверкал, пока не появилась эта злополучная двойка, да еще в четверти.

— Что сказал военрук? — спросила пришедшая в себя Мария Федоровна.

— Он сказал, что Фредик ничего не знает.

— Не может быть, — решительно сказала Мария Федоровна, бросила все и пошла совещаться к директору.

Было решено завтра идти в школу и просить для Фредика переэкзаменовки в присутствии директора и воспитателя, чтобы убедиться самим в знаниях Фредика.



Молодой, горячий военрук, недавно вернувшийся с фронта после ранения, узнав, зачем пришли, сказал, что поставил двойку Фредике за то, что он читал на уроке книгу. «Что он может знать, если во время объяснения урока занимается посторонним делом?» — совершенно резонно решил военрук. Но Фредике все-таки устроили экзамен.

Мы даже не пошли после звонка на урок и, столпившись у полуоткрытой двери в физкультурный зал, смотрели, что там происходит. Военрук построил первоклассников и громко крикнул:

— По подбородкам равняйся! Смир-рно! Шагом марш! Запевай!

Ребята дружно подняли ноги в валенках и нестройно, на разные голоса, но бойко запели:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...

Прошли по залу круг. Потом военрук их остановил, повернул и скомандовал, коверкая фамилию Фредика:

— Цесар, выдь из строя!

Фредик, переваливаясь в больших валенках, как гусь, вышел, остановился, повернулся кругом и застыл на месте, немного свесив набок большую голову на тонкой шее.

Последовало несколько вопросов, на которые Фредик, к явному удивлению военрука, отвечал быстро и правильно, почти не задумываясь. Большие карие глаза его невинно смотрели на преподавателя. Потом Фредика повернули налево, направо и кругом, что он проделал спокойно и деловито, как профессор. Кстати, его в детдоме и звали «профессором» за большую голову и вечное чтение книг.

Экзамен был окончен. Михаил Васильевич и Мария Федоровна направились к двери. Мы помчались в класс. Позже мы узнали, что пораженный военрук поставил Фредиду за четверть пятерку.

МАРИЯ

Я возвращался из школы. В синем небе сияло яркое и теплое солнце, под ногами хлюпал сине-белый мокрый снег. Перед самым детдомом снег весь растаял, и развезло такую грязь, что приходилось прыгать, как зайцу, в поисках более или менее сухого места. В правой руке у меня был портфель, в левой — толстая и большая книга, которая не лезла в него. Книга называлась «Грач — птица весенняя». В это время надо мной пролетело несколько больших черных птиц, бросив мгновенную тень на дорогу. Я бы не обратил на них внимания, да только одна сбросила на книгу, прямо на заголовок, мутно-белую каплю. Я быстро взглянул вслед птицам — это были грачи. Стирая каплю, поразился сопадению. Грач-то — птица весенняя! Вот он мне и подчеркнул, чтоб не забывал. Весна пришла!

Настроение было хорошее, но страшно хотелось есть. В ожидании обеда, чтобы как-то заглушить голод, сунул в рот кусок лепешки из вареной смолы, которую почему-то называли серой. Не заметил, как в клуб вошла Мария Федоровна, и серу не успел спрятать. Но воспитательница была чем-то озабочена и не обратила на меня внимания. Мария Федоровна гоняла нас за жвачку, говорила, что сера вредна. Но нам сера нравилась. Местные жители все жевали ее, серу даже продавали на базаре. Особым шиком

считалось умение щелкать серой. Особенно хорошо это выходило у ночной нянечки Марии. Она умудрялась щелкать почти при каждом движении ртом, и я ей даже завидовал.

Мария была тихая, молчаливая женщина. Она была молода, но бедное старенькое платье, грубый ватник и темно-серый платок, который она носила, делали ее почти старой. Говорили, что у Марии несколько маленьких детей. Лицо у нее было всегда усталое и иногда как будто измученное. Я догадывался, что она питается хуже нас. Может, потому решил, что она беспрерывно жевала серу.

Но я не предполагал, как она нуждалась. Однажды вечером я заметил, что она украдкой что-то ест. Я не удержался и полюбопытствовал. Мария предложила мне попробовать кусочек. Это был кусочек лепешки, похожий на прессованную почерневшую махорку. Я сунул его в рот и чуть не выплюнул, такой он был противный и горький на вкус. Мария улыбнулась, увидев, как я скривился. Мне почему-то стало неловко, и я, сделав героическое усилие, проглотил кусок. Мария объяснила, что эта лепешка из лебеды, той самой травы, что растет сорняком в огороде. Ее сушат, толкут в муку и пекут.

Мне стало жалко Марию. И тут я вспомнил про свои вещи, которые привез с Урала. Они уже несколько месяцев лежали в мешке в комнате, где хранилось наше белье. Вещи эти я не надевал, потому что они были слишком нарядные по сравнению с той одеждой, которую мы носили.

На другой день я забрал свой мешок и, дождавшись прихода Марии, отдал ей. Увидев, что в нем, Мария испуганно замахала руками:

— Что вы, что вы, я не могу это взять!

Наверное, она решила, что вещи краденые. Когда я ей все объяснил, она все равно не хотела брать, но я все-таки настоял, сказал, что все равно носить не буду. Она взяла мешок вдруг задрожавшими руками и неожиданно заплакала, тихо и беззвучно, низко наклонив голову, стыдясь своих слез.

Через несколько дней, придя на дежурство, Мария дала мне знак, чтобы я подошел. В углу, где она обычно складывала свои вещи, которые приносила на дежурство, она достала из мешочка что-то завернутое в сырую белую тряпку. Я развернул тряпку и увидел небольшой круглый шар желто-молочного цвета. От него исходил душистый и чуть кисловатый запах. Масло! Она купила мне на базаре коровье масло в благодарность за вещи. Милая Мария! Если нас, детдомовцев, ни разу не кормили маслом, так чем же было это масло для нее, почти не видевшей хлеба! А что же ели ее дети?

Масло я взял, чтобы не обидеть Марию. Перед ужином я предупредил ребят нашей группы, чтобы они не ели хлеб и принесли в спальню. Когда все собрались, я торжественно достал свой молочный шар, и каждый кусок был намазан толстым слоем масла, на поверхности которого под давлением ножа выступали маленькие мутные капельки.

Вкус и запах этого домашнего масла военной поры запомнился мне навсегда.

«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ...»

В Параньгинском детдоме, как и на Урале, взрослые любили устраивать концерты самодеятельности ребят. Особенно нравилось выступать девочкам, мальчишки же старались избегать эти «нежности» — петь или танцевать, кро-

ме, конечно, случаев, когда налицо были явные таланты, и тут открутиться невозможно. Эти-то таланты усиленно искались взрослыми.

Приближались майские праздники, а с ними и очередной концерт самодеятельности. Я заметил, что Мария Федоровна стала что-то уж очень внимательно присматриваться ко мне. Если я что-то напевал себе под нос, она непременно оказывалась рядом. Но я понял этот маневр и пение прекратил. Тогда она сделала по-другому.

— Женья, — сказала она вкрадчиво, — ты должен что-нибудь спеть на вечере. Ведь у тебя в четверти, да и за год, будет пятерка по пению.

Вон с какой стороны подошла! Хорошо, что она еще не знает, как я на Урале «сделался» певцом, чтобы попасть к раненым в госпиталь. Но там была цель, а здесь? И про пятерку эту в четверти лучше бы не вспоминала. Я просто вынужден был ее получить.

А дело было так. Четвертый класс я заканчивал на все пятерки, и только одной отметки у меня не было. По пению. В хоре я кое-как пел, а один боялся. Но тут надо было получить отметку за «личное» пение. Учительница так и сказала, что, если я не запою, будет обидно, так как остальные оценки у меня отличные. Значит, надо было в полной тишине, при общем внимании хотя бы завывать, закричать или замурлыкать, но только показать, что ты знаешь, как поются песни, и усвоил хоть один мотив.

И тогда я решился, но сначала попросил, чтобы кто-нибудь передо мной спел (а я пока наберусь храбрости).

— Пусть тогда нам Грета споет, — сказала учительница, — у нее хорошо получается.

Грета от похвалы немного покраснела. Встала из-за парты и запела свою любимую песню про старика, который жил «на сорок втором разезде лесном». У Греты был красивый низкий голос, и пела она с видимым удовольствием, понимая, что доставляет приятное и другим.

Потом встал я, набрал в легкие побольше воздуха, закрыл глаза и во весь голос заорал, словно падая в ледяную воду или идя в последнюю атаку:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо...

Голоса своего я не узнал, он стал какой-то чужой. Ребята сидели странно притихшие, а учительница закрыла платком рот, как будто у нее заболел зуб. Лицо у нее покраснело.

Спев куплет, я было разохотился продолжать, но учительница остановила меня:

— Молодец, Женя, хватит. Петь ты можешь.

Я понял, что испытание выдержал. Учительница поставила мне за четверть пятерку, за смелость, конечно. А за что же еще?

Вспомнив все это, я ответил Марии Федоровне решительным отказом. Но она не сдалась:

— Тогда что-нибудь прочитай наизусть, ты же много читаешь, и по литературе у тебя отличные оценки.

Стихов я терпеть не мог, хотя, конечно, читал их, как и все, наизусть, когда задавали. И я не смог указать доброй Марии Федоровне, которая так интересно рассказывает нам вечерами разные истории. И начал учить стихотворение, которое она мне тут же подобрала.

И вот в канцелярии расставляют стулья, выделив место для выступающих около пианино. Зрители ве-

село занимают места. Кому весело, а кому нет. Я продолжал твердить про себя опостылевшие строчки.

Концерт между тем начался. Две девочки в один голос спели песню о Москве — «Я по свету немало хаживал», которая всем была известна и очень нравилась. Потом Лешка Ромашкин, старшеклассник, одетый в широкие шаровары и подпоясанный шарфом, показал свое умение плясать гопака. Плясал он здорово, так прыгал, аж доски гнулись. Лешка еще был знаменит в детдоме тем, что хорошо играл на гармошке.

Акомпанировала всем на пианино мать Марии Федоровны. В детдоме ее почти не было видно, она сидела дома со своей черноглазой внучкой, перво-классницей Адочкой, обладавшей тихим и необыкновенно тонким, как у комара, голоском.

Наступила моя очередь. Не чувствуя рук и ног и почти не слыша собственного голоса, я начал совершенно бессмысленно отбарабанивать изрядно надоевшее стихотворение. Где-то в середине очнулся и вдруг заметил, что на меня смотрят и слушают. И тут же потерял нить стиха. Мучительно вспоминал и никак не мог вспомнить, что же дальше. Пауза затягивалась, зрители начали смотреть на меня с любопытством: вспомню или нет, убегу или нет? Я собрался было бежать, но потом подумал, какой будет позор, и сразу вспомнил проклятую строчку. Закончив стих, я побежал на место, красный от стыда. Решил, что на этих выступлениях ноги моей больше не будет, хватит с излишком школы. Там хоть не глазают на тебя, как в зоопарке, знают, что не артист, что так надо, раз задали учить. Да и запнешься, никакого позора, разве только скинут с отметки единичку или две.

Мои грустные размышления прервал пятиклас-
сник Борис Бялик, брат Юлика-шахматиста. Он вы-
шел на середину комнаты и звонким голосом объя-
вил:

— Романс Глинки на стихи Пушкина «Я помню
чудное мгновенье»!

Интересно, подумал я, что это за чудное мгно-
венье, и приготовился слушать. Пианистка сделала
медленное вступление, потом пальцы ее быстро-бы-
стро засуетились, и на фоне взбудораженной беготни
клавиш вдруг сильно и ясно зазвучал высокий маль-
чишеский голос:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Я онемел от удивления. Невзрачный черноволо-
сый, всклокоченный мальчишка, полузакрыв большие
серые глаза, пел о чистой красоте. Что это такое? Чи-
стыми и волнующими были слова и несла их чистая,
неземной красоты мелодия.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты...

Я не знал, что происходило со мной. От стихов,
или музыки, или от всего вместе внутри у меня на-
хлынуло и замерло что-то близкое к слезам.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви...

Не заметил, как кончилась песня, и пришел в себя, когда раздались аплодисменты певцу. Из всего романа я запомнил лишь три слова «гений чистой красоты», и больше ни строчки. Мне показалось, что только три слова и были в этой волшебной песне, мелодия которой на все лады твердила одну и ту же мысль о чистой красоте.

Я позавидовал Борису. Он знал все об этой красоте, помнил наизусть слова и мелодию романа, мог спеть его себе хоть тысячу раз. А мне так вдруг захотелось еще послушать эту волнующую музыку, как будто меня на мгновение охватил теплый дождь, под которым согрелась душа. Но он прекратился, и душа теперь должна стынуть, и я потерял покой до тех пор, пока вновь не попаду под эти волшебные струи. Я не знал, что в этот вечер в затеряншемся в бескрайних просторах России скромном селении я встретился с Красотой и Гармонией, перед которыми беззащитна и безоружна душа человека.

МАЙ

Пришел май. Зазеленели кусты акации за изгородью, по вечерам в них булькал и свистел соловей. Наш двор покрылся жесткой ползучей травкой, похожей на гусиные лапки.

Занятия в школе закончились, теперь мы были свободными птицами, делай что хочешь. Конечно, никто не отменял каждодневную работу в детдомовском подсобном хозяйстве, которая оживилась с при-

ходом весны. Все делали: ездили с бочкой за водой, чуть свет вставали и поливали капусту, пасли свиней. Пустишь их вдоль склона оврага, а сам лежишь на траве и читаешь книжку. В это время я с увлечением читал «Цусиму». Как наши русские моряки еще тогда воевали, до революции, чего стоит один «Варяг»! А сейчас мы в сто раз сильнее, фашисты так и катятся с нашей земли, не разберешь, где голова, а где ноги!

Больше всего нравилось проводить время на ручье. Сколотишь из досок и бревен маленький плотик, чтоб только не тонул, возьмешь в руки шест и плывешь, сидя на плоту, вниз по течению. Высокие берега ручья поросли ивой, лопухами, камышом. За каждым поворотом открывается новый вид. Чуть зажмуриться, и кажется, что плывешь по незнакомой большой реке, у которой высокие обрывистые берега. Не знаешь, что творится за этими берегами. Может, бегают стада диких лошадей Пржевальского? Отталкиваешься шестом, и течение несет тебя все дальше и дальше.

С маем начались полевые работы. Готовили к посеву картофель, вытащив его из хранилища и разложив сушиться на солнце. Пробовали сырой картофель на вкус. Оказалось, есть можно, и особенно приятен красный картофель. Вскоре начали пахать. Вся штатная рабочая сила в подсобном хозяйстве была представлена в лице молодого татарина Миши Абдуллина, у которого на обеих руках не хватало нескольких пальцев. У него были сильные руки, и он все умел делать и учил ребят. Под руководством Абдуллина мы научились запрягать лошадей, пахать, сеять, бороновать, косить. В нашем хозяйстве было всего две лошади — молодой, дурашливый вороной

мерин Артист и старый, смирный серой масти Соловей. Ухаживали за ними Мирка и Шурка.

Я завидовал ребятам, когда они верхом мчались на лошадях на водопой и купание. Хотелось и самому попробовать поездить верхом. И случай вскоре представился.

Однажды к крыльцу нашего корпуса подъехал на Артисте Мирка. Привязав его за столб навеса, пошел за чем-то в дом. Я решил воспользоваться этим моментом. Отвязал лошадь и с крыльца запрыгнул на нее. Ощущение было необыкновенное, сидишь высоко, словно кавалерист. Спина у лошади широкая и теплая. Я лихо ударил голыми пятками под бока Артисту, он вздрогнул, мотнул головой и затрусил по двору. Меня начало мелко подбрасывать и раскачивать в разные стороны. Но вместо того чтобы сжать ногами бока лошади, я вцепился руками в холку. Артист, почувствовав бестолкового всадника, встряхнул головой, а потом взбрыкнул ногами, и я полетел на землю.

Сзади раздался смех. Смеялся Мирка, который наблюдал за моей ездой.

— Не можешь ездить, куда лезешь? — сказал он весело, подбегая и беря Артиста за узду.

Я встал и потерял ушибленный бок.

— А ты как сел, так сразу и поскакал?

— Конечно! — самонадеянно ответил Мирка.

Тогда я решил кое-что ему напомнить.

— Так же, как на велосипеде, сел и сразу поехал?

Мирка скривился, поняв, о чем я говорю.

— Велосипед — это совсем другое дело. У лошади четыре ноги, а велосипед падает, если его не держать.

Все помнили, как Мирка «объезжал» велосипед. Шурка держал машину, пока Мирка забирался на нее, как на лошадь, потом сильно толкнул его вперед. Мирка нажал на педали и отчаянно завертел рулем во все стороны, хотя перед ним была совершенно ровная и пустая дорога. Правда, впереди, метрах в тридцати с краю дороги, стоял телеграфный столб. Наехать на него было просто невыносимо, можно было десять раз сообразить, как его объехать. Но все-таки какая-то сверхъестественная сила потащила Мирку прямо к этому столбу. Метров за десять и он, и мы уже точно знали, что ему не отвернуть от этого столба. Как только Мирка дергал руль вправо, велосипед тут же начинал валиться на левый бок, тогда он делал судорожный рывок рулем влево, а машина уже накренилась вправо. Но так как ноги его непрерывно работали, велосипед, несмотря на выделяемые на земле кренделя, упорно продвигался к столбу. Мы со страхом ждали, что будет делать Мирка. Отчаянными рывками он стремился уйти от рокового места, но лишь разгонял машину в том же направлении. Перед самым столбом он бросил предательский руль и со всего размаху обнял двумя руками, как друга, свою первую преграду, да так, что послышался звон. На лбу у Мирки сразу вскочила огромная шишка.

Обеспокоенный хозяин велосипеда немедленно забрал машину и укатил: столбов-то еще на дороге много, а велосипед один. Вспоминая этот эпизод, мы всегда хохотали, а Мирка уныло улыбался, глядя на нас.

Забрав Артиста, Мирка повел его за наш корпус, где мы решили сделать свой собственный небольшой огород. Для начала надо было вспахать землю. Но

тут появился Абдуллин. Увидев наши приготовления, он закричал, что лошадь не даст, что она и так уже устала за день, что это вообще му́ка — пахать на таком маленьком огороде, где лошадь с плугом не развернешь.

Тогда ребята решили пахать на себе. Целым гуртом впряглись в плуг, Мирка взялся за ручки, мы натянули постромки и двинулись, как бурлаки бечевой. Оказалось, однако, что и всем вместе нам до одной лошадиной силы далеко. Пока вспахали огород, стали мокрые, как мыши.

Вечером, после ужина, все вывалили на двор. Уставшие от трудов и довольные сделанным, легли на теплую траву.

— Леш, принес бы гармонь, — сказал кто-то.

— Это можно, — спокойно ответил Лешка, тряхнул пшеничным чубом и не спеша пошел в корпус.

Лешка играл на своей двухрядке, или, как он ее называл, «хромке», все, что угодно: русскую, цыганочку, вальсы, польки, марши. Но больше всего он любил играть песни, которые ловил прямо на лету. Талант у него был просто непостижимый для моего понятия. Как-то попробовал я подобрать на пианино одним пальцем «Степь да степь кругом», толкнул одну клавишу, другую, третью: не связываются они между собою в мелодию. Закрыв горестно крышку и решил, что это не для меня, нет таланта. А Лешка играл сразу двумя руками и даже не глядел на пальцы. Мог играть в полной темноте и петь при этом.

И сейчас он вышел на крыльцо, сел на ступеньки и заиграл свою любимую «Три танкиста». Лешка и внешне был похож на артиста, который в кино пел эту песню и играл на гармошке. Такое же широкое русское лицо, хитроватые глаза, белозубая улыбка.

Даже движения у Лешки были такие же неторопливые, уверенные. И пел Лешка таким же хрипловатым низким голоском. Может, подражал он тому артисту, а может, все гармонисты такие ладные, интересные парни?

Пели мы все подряд: «Три танкиста», «Тачанку», «Катюшу», «Степь да степь кругом», все, что помнили. Лешка прилег рядом с нами на траву и играл лежа на спине. Наконец притомились от пения, тогда Лешка стал играть все, что взбредет в голову. Вдыхали мехи гармони, пели ее залиvistые голоса, на душе было светло и легко. Как любил я Лешку в эти минуты!

Мы лежали, заложив руки за голову, глядя в небо. Смеркалось, малиновая заря сменилась розовой, потом желтой и зеленой. Свет в окнах домов стал зеленоватым. Мягкий свет, казалось, чуть подзеленил и дрожавшие капельками в вышине звезды, вот-вот готовые сорваться вниз и сгореть зеленым огнем где-то у земли, обещая сбыться заветным желаниям.

ДОВЕСОК

На кухне мы дежурили по двое. Самым почетным и ответственным делом была резка и взвешивание хлеба. Один нарезал большим кухонным ножом буханку на тонкие ломтики, а другой в его присутствии взвешивал хлеб на весах. Буханка была чаще всего тяжелая, сырая, и куски поэтому получались очень маленькими, так как весили много. Как бы искусно ни резали хлеб, редко уда-

валось точно угадать вес, и к порциям добавлялись небольшие довески. Вся прелесть пайки, как мы называли свою порцию, заключалась в этом довеске. Мы всегда охотно брали порцию с довеском. Он был как бы лишним, как будто его дали сверх нормы. Конечно, это был самообман, иллюзия, но в нее хотелось верить.

Правда, пайки с довесками были уязвимы, довески легко можно было «сшибить», чем и пользовались некоторые любители «легкой наживы», если представлялся удобный случай. Но чужую порцию никто никогда не трогал, это было законом.

Порцию, как бы ни была она мала, мы в столовой почти никогда не съедали, совали в карман. Чаше всего это была корка. Мы ходили с ней по двору, уносили в школу. И когда голод давал о себе знать, а это случалось очень быстро, от кусочка отщипывалось несколько крошек, которые держались во рту, пока не истаивали. Становилось как будто легче. И особенно приятно было вдруг обнаружить в кармане несколько высохших сладких крошек, которые хрустели на зубах.

Как ни странно, совсем не зазорным считалось просить друг у друга хлеб. Хотя в столовой все его получали поровну, на улице это как бы забывалось. Не съел, значит, можешь поделиться с товарищем. И так же, как некоторые ребята привыкли попрошайничать, другие получали удовольствие в том, чтобы поделиться со своим другом порцией. Особенно безотказным был добродушный третьеклассник Митя, который умудрялся угощать по несколько попрошаек.

Случилось однажды, что заболел один детдомовец, и его отвезли в районную больницу. Через несколько дней воспитательница, побывавшая в боль-

нице, сообщила директору, что мальчишка пошел на поправку, но врачи настоятельно рекомендуют усилить питание. Решили носить ему хлеб и сразу выделили двухдневную порцию. Отнести хлеб поручили Леньке, а он, чтоб веселее было идти, позвал меня. Делать мне было нечего, и я согласился.

Ленька взял в руку небольшой узелок с завязанными крест-накрест концами, и мы вышли за ворота, шлепая босыми ногами по теплой дорожной пыли. В больницу надо было идти через всю Параньгу, на другой ее конец, и мы прибавили шагу, так как хотели вернуться к обеду. Ленька, хорошо знавший Параньгу, начал срезать путь, пересекая кое-где дворы.

В одном из дворов мы увидели большой открытый деревянный ларь. С любопытством заглянули в него и ахнули. На тощей подстилке из сена лежало куриное яйцо, большое, красивое, белое, как мел. Глаза у нас загорелись, не сговариваясь, мы поняли, что так просто уйти нельзя. Не знаю, как Ленька, но я с самого начала войны не пробовал яиц. А тут лежит такое нежное, свеженькое. И главное — кругом ни души. Одна пестрая курица бродит по двору и тихонько сердито кудахчет, наверное, на нас.

Махнув Леньке, чтобы он посмотрел, не идет ли кто, я, ухватившись руками за края ларя, подпрыгнул, налег животом и опрокинулся вниз, чуть не сорвавшись на дно. Быстро схватил твердое и теплое яйцо и выскочил наружу. Оглянувшись — никого нет, только окна дома напротив мрачно темнели своим слепым взглядом. Что есть духу побежал за дом, где меня ожидал Ленька, и мы быстро, не оглядываясь, пошли вперед. Потом я достал из кармана яйцо, и мы принялись разглядывать его, взвешивать на руке, любоваться неожиданной добычей.

Но что с ним делать? Сварить негде, а сырым есть не приходилось. Но все-таки решили съесть сырым. Осторожно разбили камешком скорлупу, очистили окошко от обломков скорлупы и белой прочной пленки и начали по очереди тянуть из яйца белок. Он был пресный и безвкусный. Соли не было, хлеба тоже. Мы молча посмотрели друг на друга и... также молча развязали узелок. В нем был завернут большой кусок хлеба — двухдневная порция! Хлеб был серого цвета, с белыми вкраплениями не то мякины, не то еще чего-то, похожего на отруби или жмых. Нет, мы не могли ломать хлеб. Ленька, сопя от старания, стал осторожно завязывать узелок. И вдруг на его лице появилась радостная улыбка, он что-то нащупал снизу. Быстро развернул узелок, вытащил кусок, а под ним на дне узелка лежал... довесок! Небольшой, размером поменьше спичечного коробка. Это уже совсем другое дело. Довесок есть довесок, им можно и поделиться.

Разломив кусочек пополам, мы, закусывая им, выпили потихоньку все яйцо, оценив невозможную вкусноту сырого желтка. Положив друг другу руки на плечи, мы весело тронулись в путь.

— Яйки есть... — запел Ленька.

— Яйки есть, — подхватил я и продолжил: — Эпи* найдется...

— Яйки есть, эпи найдется, — повторил Ленька и вдруг рассмеялся, подмигивая мне: — Как-нибудь и обойдется!

Так, повторяя нараспев нашу песню, мы подошли к больнице. Больной — худенький белоголовый мальчуган, страшно обрадовался, увидав нас, и забросал

* Хлеб (по-марийски).

вопросами о детдоме, о ребятах, по которым уже соскучился. На хлеб он посмотрел довольно равнодушно, сказал, что его только что покормили, и вдруг, отломив половину, протянул нам. Мы с Ленькой наотрез отказались, сказали, что тоже только что пообедали. О довеске не стали ему говорить. А что говорить? Довесок есть довесок.

СОЛОВЕЙ

Особое пристрастие испытывали мы, мальчишки военной поры, к стрельбе. Стреляли из всего, из чего можно было стрелять: из зеленых трубочек бузиной, из резинок — скатанной бумагой или проволочкой, из рогаток, луков, арбалетов, прикрепив лук к самодельному ложу ствола, и наконец из самопалов.

По части изготовления «боевого» оружия мастером считался Виталий Ляхов. Он, например, умудрялся делать настоящую маленькую пушку из гильзы малокалиберного патрона. Делал крошечный деревянный лафет, проволочкой прикреплял к нему гильзу, в которой просверливал дырочку. Набивал в гильзу серу от спичек или порох из патрона. Затем вкладывалось «ядро» и забивался пыж. Пушку ставили на стол против дальней стены, Виталий подносил к дырочке зажженную спичку — «факел». Пушка рывкала громко, как настоящая, с огнем вылетало ядро и ударяло в стену. Сама пушчонка опрокидывалась назад.

Делал Виталий и пистолеты-самопалы. В деревянное ложе вкладывал металлическую трубку и пропиливал у ее основания дырочку. Весь порядок зарядки был тот же. Самопал бил крепко. Виталий охотился с ним на птичек. Обычно промахивался. Но привлекала сама стрельба: как из настоящего оружия.

На охоте я иногда сопровождал Виталия. Было интересно наблюдать, как громко и с сильной отдачей палил самопал, и все окутывалось дымом.

Но один случай заставил Виталия забросить свой самопал.

Однажды в кустах акации мы слышали соловья. Он пел громко и сидел где-то близко, но увидеть его было непросто. Обнаружили всего в нескольких шагах от себя. Худенькая серая птичка пела, закинув вверх голову, не замечая нас. Виталий стоял и думал. Инстинкт охотника требовал выстрелить в «дичь». Но ведь это был соловей, как он пел!

Рука неуверенно поднялась, просто так, прицелиться, взять на мушку и поддержать, наслаждаясь самой возможностью спокойно целиться в живую птицу. Соловей пел. И Виталий решил доиграть до конца. У него и мысли не было, что он может попасть в птицу. Просто спугнет. Коробок чиркнул по головке спички, прижатой у дырки в стволе.

Соловей еще пел. В это время раздался оглушительный звук выстрела. Не веря своим глазам, мы увидели, как птица медленно, а потом камнем свалилась с куста. Подбежали, схватили соловья, который даже не шевелился, и стали искать, куда же попал Виталий. Но как ни искали, не нашли на теле птицы не только следа от пули, а даже малейшей подпалины. Ни одно перо не было затронуто.

Соловей умер от разрыва сердца. Как умирают нежные существа, как умирает человек. Так мы решились. И от этой мысли стало еще печальней на душе. Мы похоронили птицу под кустом.

И Виталий сломал на моих глазах свой прекрасный самопал.

ВЕСТИ С ВОЙНЫ

Не было дня, чтобы мы не знали, что происходит на фронте. В клубе висел динамик—огромная черная тарелка. Два раза в сутки тарелка оживала, и раздавались мелодичные позывные на мотив песни «Широка страна моя родная». Потом звучал торжественный, необъятный голос Левитана, читавшего сводки Советского информационного бюро. Часы передачи совпадали с нашим сном, поэтому специально выделяли дежурных. Около шести часов дежурного будила Мария. Зимой он надевал на себя тулуп, шапку и валенки, потому что утром в клубе стоял страшный холод, и садился к динамику. После подъема дежурный громко сообщал последние известия. И мы, только открыв глаза, уже знали, что наши войска за последний день еще дальше погнали фашистов на запад.

У нас немало было ребят из Киева, Ленинграда, Минска, и их особенно интересовало то, что происходило около их родных городов. Вот уже на много километров отбросили немцев от Днепра, а около Ленинграда наши войска взяли Красное село, город Пушкин, полностью освободили железную дорогу, соединяющую Москву и Ленинград.

Многие ребята не знали, где их родители. И однажды черная тарелка принесла удивительную весть. Кто-то уловил по радио знакомую в детдоме фамилию: Кардюк. Диктор говорил о танкистах, которыми командовал полковник Кардюк. У нас была девочка Рая Кардюк, которая потеряла своего отца. Уж не его ли назвал диктор? Срочно написали в Москву, в Радиокомитет письмо. А вскоре пришел ответ, и оказалось, что нашелся отец Раи.

Была в детдоме и своя страшная тайна. Тайна только для одного человека, которого она касалась. Пришла похоронная на отца Лили Одинцовой. В ней сообщалось, что отец ее героически погиб. Директор строжайше запретил всем говорить девочке об этом. Лили была очень впечатлительная и буквально бредила своим отцом. От него долго не было известий, и она, бывало штопая вместе с другими девочками наши безнадежно рваные носки, мечтала вслух о том, как пойдет учиться на медсестру, потом попадет в госпиталь и однажды среди вновь прибывших раненых найдет отца. Все опускали головы, боясь посмотреть ей в глаза, и кто-нибудь говорил, что так и будет, но все знали, что этого не будет никогда.

Только много времени спустя Лиле сказали печальную правду. Но самым поразительным оказалось то, что это не было правдой. Через несколько лет Лили увидела своего отца. Он был ранен и попал в плен, а потом бежал из него.

В канцелярии детдома висела большая географическая карта. На ней каждый день красными флажками отмечали продвижение наших войск. Сплошная петляющая ниточка красных флажков, как в охоте на волков, постоянно переносилась, сужаясь и сжи-



маясь, и все ближе приближалась к логову фашистского зверя, готовая окружить его у самой берлоги.

Глаза наши все чаще останавливались на точке карты, где было крупно выведено: Берлин. В Берлине сидел Гитлер вместе со своей шайкой палачей. Не раз думали мы, какую казнь сделать ему, чтобы отомстить за горе, которое он принес всем людям. И не было такой казни, которая бы не была мягкой для него. Я подумал, что надо бы обязательно сделать такую вещь: через всю страну протянуть бикфордов шнур, который бы вел к месту казни, и поджечь его. И пусть все люди в больших и малых городах, в деревнях и поселках видят, что приближается час казни Гитлера, и пусть он знает, что с каждой секундой близится расплата. Впрочем, расплата и так приближается к нему и застанет его в Берлине в самом скором времени.

В МОСКВУ!

До войны Михаил Васильевич был директором одной из московских школ. Детдомовский завхоз Павел Игнатьевич работал в той же школе и тоже был завхозом. Мария Федоровна учительствовала в этой школе. Они были настоящими друзьями, преданными одному делу. О Марии Федоровне я уже говорил. Нужно только добавить, что с начала войны она попала со своей семьей на Урал, где работала на одном из заводов и лишь потом, разыскав через Москву Михаила Васильевича, приехала в Параньгу.

Павел Игнатьевич совсем не разлучался со своим

директором. Это был большого роста, крепкий, даже какой-то кряжистый человек с огромными узловатыми руками, мощной шевелюрой на голове, взлохмаченными густыми бровями, из-под которых дружелюбно смотрели маленькие светлые глаза. Ребята его уважали. Характер у Павла Игнатьевича был уравновешенный, хотя он мог, рассердившись, отпустить своей твердой ладонью чувствительный подзатыльник. Он был чем-то похож на свои большие и темные, крепко сколоченные амбары. Настоящий завхоз.

Несмотря на то что у Михаила Васильевича такой опытный и надежный хозяйственник, директор сам проникал во все детали детдомовской жизни. Там, где дело касалось продуктов и вещей, Михаил Васильевич был особенно аккуратен и бдителен. На каждом складе, ларе или амбаре всегда висело по два замка. Ключ от одного хранился у Павла Игнатьевича, а от другого — у директора. Так что открывали они склад в присутствии друг друга. Особенно строго контролировалась закладка продуктов в детдомовский котел.

Директор был скуповат. На складе детдома лежала тонна мыла, однако Михаил Васильевич установил сотрудникам такую голодную норму, что тем приходилось стирать почти всегда без мыла. Когда Мария Федоровна однажды попросила директора, чтобы он разрешил выписать сотрудникам немного мыла, он недовольно сказал: «Вы что, едите его?» — и не разрешил. Тогда стали действовать через жену директора Ольгу Ивановну. Ей доставалось одинаково со всеми, но от нее претензий он тем более не принимал. Тогда она сказала ему:

— Вот, Миша, твои брюки, стирай их сам. Попробуй, как без мыла. Больше стирать тебе не буду.

Растерявшись от такого оборота дела, Михаил Васильевич дал команду выдать всем сотрудникам хорошую порцию мыла.

С ребятами директор был по-отцовски ласков, но, когда надо, строг. Сам интересовался учебой каждого. Это он завел порядок, чтобы дежурный каждый день показывал ему табель успеваемости всех классов. Разговаривая с нами, он любил потирать руки и говорить «ну-с», за что ребята его прозвали Сус или Суслик. Он, очевидно, догадывался, но вида не подавал и не обижался. Он знал, что ребята его уважали, а без прозвищ они не могут.

Михаил Васильевич был молод душой, несмотря на свои шестьдесят лет. У него была скрипка, и он любил сыграть что-нибудь во время концерта самодеятельности. Играл и дома, когда ребята, попав к нему, просили об этом. Исполнял полонез Венявского, мазурки, какие-то красивые пьесы. Прижав массивным подбородком скрипку, он сосредоточенно водил смычком по струнам и сам слушал, полузакрыв светлые глаза.

Иногда длинными зимними вечерами Михаил Васильевич собирал в канцелярии всех желающих послушать чтение книги. Садился у керосиновой лампы, надевал очки и раскрывал томик своего любимого писателя Чехова. Как мы хохотали, когда он читал «Налима». «Держи его за зёбры!» Михаил Васильевич даже вскакивал со стула, когда доходил до этого места, как будто сам нащупал этого налима под корягой. Закончив рассказ, смеялся вместе с нами, вытирая платком выступившие на глазах слезы. А потом читал чеховскую «Шуточку», совсем не веселую, а даже, напротив, грустную. Там один городской, катаясь со знакомой девушкой на санках с горы, в са-

мом страшном месте под свист ветра говорил ей: «Я люблю вас, Наденька». Бедная девушка боялась горы, но все время просила еще раз прокатиться, потому что хотелось узнать, он сказал ей эти слова или ей это показалось. Но она так и не узнала, потому что ее кавалер не показывал вида, что это он говорил.

Я испытывал к директору благоговейное чувство. С ним связывалось у меня представление о культурном человеке. Я слышал, что наш детдом относился к Наркомату просвещения. Связав это понятие с обликом директора, решил, что только такие люди и работают в таком важном учреждении — Наркомате просвещения. К нему так подходило слово «просвещать», просвещать во всем интересном, что есть на свете.

К концу лета директор уехал в Москву и не возвращался целый месяц. По детдому поползли волнующие слухи. Я боялся им верить, но вот, наконец, вернулся директор и объявил, что в ближайшее время всем детдомом мы переезжаем под Москву, куда съедутся еще два таких же, как наш, детдома, и все три сольются в один.

Вот это была новость! Мы ходили счастливые, как во сне. И все-таки, пока не начались сборы, в это с трудом верилось. И лишь когда в последний день разобрали кровати, стало ясно — едем, ведь спать-то уже не на чем. К детдому потянулись телеги, собранные, наверное, со всего района.

Ребята начали рассаживаться кто куда. Я сел в одну телегу с Гретой. В последнее время ее общество стало для меня более интересным, чем прежде. Я оценил не только ее ум, но и глаза. И в этом было что-то новое.

Наконец, вытянувшись длинной цепочкой, тележ-

ный поезд выехал из ворот. Я смотрел на темные низкие домики, что остались позади, и не страдал — впервые — от этой разлуки. Лишь минутная легкая грусть проникла в сердце. Все-таки это были милые старые домики, милый овраг с огромными, как слоновьи уши, лопухами, милый ручей, который в иные минуты казался просторной речкой. Но пока я их видел, помнил, а как скрылись за поворотом, забыл. Я ехал с ребятами, к которым привык, с кем жил одной семьей. Душа была спокойна. Теперь хотелось скорей увидеть новые места, испытать новую жизнь.

Проехали школу, деревянный кинотеатр, в котором раз в два-три месяца показывали нам какой-нибудь фильм. Выехали из Параньги. Возница-старичок понукал свою рыжую лошаденку, стараясь не отставать от общей цепочки, которую мы замыкали. Мы с Гретой сидели сбоку телеги, свесив ноги, и говорили обо всем, что приходило в голову. Правда, говорила больше она, а я слушал. Она говорила о своей Белоруссии, где жила до войны, о родителях, которых потеряла там.

В середине телеги на толстом слое пахучего сена сидел красноголовый младший брат Фредика Гарик. Дошколята были посажены на каждую телегу по одному, и старшим строго предписывалось следить за ними всю дорогу.

Уж стало темнеть, а мы еще не доехали до деревни, в которой была назначена ночевка. Наша лошаденка безнадежно отстала от всех. Вот начали спускаться с какого-то косогора. Телегу накренило. Возница сдерживал лошадь, но телега ехала все быстрее. Что-то стукнуло под колесом, я не успел ничего сообразить, как раздался страшный треск и я сильно стукнулся всем телом и головой о что-то твер-

дое. Из глаз посыпались искры. Очнулся — лежу на земле, рядом под пучком сена визжит и копошится Гарик, и тут же большим пятном белеет на земле Грета. Перевернулась телега! Подползаю к Гарику и поднимаю его на ноги. Он плачет. Подошла Грета, и мы начинаем смеяться над своим приключением, потирая ушибленные места. Гарик успокаивается.

Лошадь лежит на боку. Старичок мариец, страшно по-своему ругаясь, старается поднять ее на ноги. Кое-как лошадь встала, возница распряг ее. Общими усилиями подняли телегу. Теперь выясняется, что сломана оглобля. Это она так громко треснула. Старичок, продолжая ругаться, взял топор и пошел в лес, который неподалеку стоит темной стеной.

Мы сидим в телеге, прижавшись друг к другу, и молчим, на душе тревожно. Глухо гудит в ветвях деревьев ветер. Наконец появляется старичок, неся на плече длинную обрубленную от ветвей лесину. Кое-как прилаживает ее вместо сломанной оглобли, и мы потихоньку трогаемся дальше по косогору. Старичок идет рядом.

Наступила ночь, в небе высыпали звезды. Невольно подумалось, а вдруг возница не знает дороги, заблудился, и мы едем не в ту сторону. Потеряем своих, и они без нас уедут в Москву. Но вот вдали показались огоньки какой-то деревни. Старичок забрался на телегу и погнал лошадь скорее. Деревня оказалась «нашей». В клубе сельсовета было шумно: ребята ужинали и тут же, разложив на сене одеяла, укладывались спать.

На следующий день опять ехали обозом, а потом пересели на грузовые машины, которые под вечер привезли нас в Йошкар-Олу. Здесь остановились в школе недалеко от вокзала. И вот мы уже сидим в

зеленом пассажирском вагоне. В двух соседних длинных пульмановских вагонах разместились детдомовский скарб и обе лошади.

И нас повезли к Москве. Но до Москвы мы не доехали, свернули где-то у Каширы и утром прибыли на станцию Воскресенск. Наши вагоны подали на товарный путь, и началась разгрузка. Часть ребят осталась охранять имущество, а остальные пешком направились к детдому.

...По дороге навстречу нам ехала машина. Дорога была неширокая, и мы перешли вправо, на тропинку. Начался длинный спуск. Впереди, за деревьями, показался старый мост, который был перекинут через лощину. Сразу за этим мостом, слева от дороги, старинным парком начиналась, как нам сказали, территория детдома. У самого моста тропинка сворачивала влево к дороге. В том месте, где она как бы боком скатывалась в кювет дороги, росла на самом переломе посреди этой тропы маленькая березка. Она делила тропинку пополам, ее нельзя было не заметить: березка стояла на самом пути.

Кто-то из впереди идущих ребят потянул гибкий ствол на себя почти до земли, а потом отпустил, наблюдая, как березка быстро и с шумом выпрямляется. Другой небрежно заломил веточку вверх. Я остановился у березки. Она была в мой рост. Осмотрел задравшуюся веточку. Влажная кожица лопнула, но сама веточка только перегнулась, чуть треснув вдоль волокон. Я машинально сорвал несколько листочков и вдруг подумал: как она могла уцелеть здесь, посреди дороги? Ведь сколько людей проходит за день мимо нее? А за год? И я почему-то обрадовался, что она уцелела. Значит, больше на свете хороших людей, чем плохих.

ПОБЕДА

(Вместо эпилога)

...Я бежал вдоль здания детдома по дорожке, посыпанной песком, чуть влажной от прошедшего недавно весеннего дождя. Я сотню, тысячу раз проходил, пробежал по этой дорожке, совершенно не думая о ней, думая лишь о том, зачем я бегу, куда, что собираюсь делать. И вот на этот раз, на этой самой дорожке меня застал крик:

— Женька!

Я замедлил бег и обернулся. Кто-то издали кричал мне, я даже не разобрал его лицо.

— Женька, победа! Наша победа! — крикнул он и исчез за домом.

Я замер на месте. В это время в моих глазах и в мозгу что-то вспыхнуло. Я замер навсегда на этом месте, на этой дорожке. Я стою там и сейчас. Я вижу себя в мельчайших деталях, запечатленного навсегда солнечной вспышкой победы. Этот миг стал бесконечностью.

...Через секунду я побежал по дорожке, забыв, куда и зачем до этого спешил. Увидев впереди ребят, я тоже, как и тот, неизвестный, закричал «Победа!» и замахал руками. И они закричали, замахали руками и тоже побежали искать кого-нибудь, чтобы сообщить о нашей победе.

К глазам подступили слезы. Но они не пролились, было стыдно плакать. Мы ведь мужчины, а мужчины не плачут. Это мы победили — мальчишки. Мы продержались всю эту войну, продержались вопреки

всему. Мы смеялись и незаметно глотали слезы, слезы волнения и счастья. Мы только сейчас, когда кончилась война, поняли, что она навсегда перевернула судьбу каждого из нас, а это значит, что мы ей тоже были нужны и тоже должны были нести все ее невзгоды и лишения, значит, были ее самыми что ни на есть участниками.

Вечером мы собрались в пионерской комнате на втором этаже у единственного старенького радиоприемника и слушали Москву, Красную площадь. Сквозь треск помех слышался могучий шум голосов тысяч людей, песни, музыка, крики. А потом раздались залпы орудийного салюта. И вдруг кто-то из ребят закричал: «Смотрите, салют!» Мы бросились к окну... и увидели салют! За девяносто километров от Москвы!

Наш дом стоял на высоком берегу Москвы-реки, но столицу мы, конечно, не могли видеть. И вдруг над заречными далями, словно по команде, переданной по радио, тучи у самого горизонта окрасились в красноватый цвет. Можно было подумать, что это вспыхивали зарницы, если бы не радио и не бесконечные, упрямо чередующиеся через равные промежутки времени сполохи огня. Много салютов прослушали мы по радио за последний год войны, но увидели его из своей дали только сегодня, в день Великой Победы. И мы стояли, как на параде, перед этим великим салютом, который был и в нашу честь...

* * *

Война закончилась, но наша детдомовская жизнь продолжалась. И далеко не сразу стала она легче. Но

главное, мы, мальчишки, не отказались от наших идеалов — стремления стать защитниками Родины. Военное дело в первом классе — такое не забывается. Мы продолжали стремиться в суворовские училища. Помню, к одному из наших детдомовцев приехала мать, чтобы забрать его домой. А в это время к нам пришел офицер из военкомата, чтобы познакомиться со всеми желающими стать суворовцами или нахимовцами. Ребята выстроились во дворе, офицер начал расспрашивать их, проверять, что они знают. Парнишка не выдержал и побежал в строй. Мать позвала его, надо было собираться в дорогу. Он со слезами подошел к ней и сказал, что домой не поедет, а будет поступать в училище. На этот раз заплакала мать. С таким трудом добиралась она сюда за своим сыночком, а он — подумать только! — согласен даже остаться в детдоме, чтобы попасть в суворовское.

Не знаю, как сложилась жизнь у ребят уральского детдома, но многие ребята из Параньги и воскресенского детдома стали военными. Стали офицерами и Мирка, и Шурка, и Ленька, и «профессор» Фредик, и десятки других ребят.

...Мы все — дети нашей Родины. Во время войны это понятие было менее всего обобщением или символом, оно было очень конкретным и точным. Родина подбирала всех нас, потерявшихся на дорогах войны детей, согревала своим теплом, учила, кормила, растила. А сколько ребят усыновлял фронт! Были в нашем детдоме и сыны полков. Похожей оказалась судьба наших детдомовцев Ивана Тимофеева и братьев Волк — Михаила и Зиновия. Оставшись без родителей, они влились в семью белорусских партизан. А когда наши войска освободили Белоруссию, ребята

ушли вместе с частями на запад. Ивана усыновил зенитно-артиллерийский дивизион, с ним он дошел до Кенигсберга, был награжден медалью «За боевые заслуги». Все трое ребят впоследствии стали офицерами, служат и сейчас.

И в начале войны, и в конце, и после нее пополнялась наша детдомовская семья. Были среди нас и героические дети Ленинграда — истощенные голодом серьезные малыши; была тихая девочка Валя, дочь капитана И. Остапенко, советского парламентаря, зверски убитого фашистами в Будапеште; были и задумчивые сестры украинки Майя и Алла Литвиненко — дочери офицера А. Литвиненко, военного коменданта Потсдама, умершего от ран в 1945 году.

Много их было, ребят, уходивших из детдомов в большую жизнь с благодарностью в сердце к своей матери-Родине. Они всегда помнят об этом. И когда киноактер Геннадий Юхтин говорит в фильме «Дело Румянцева» слова: «Я, брат, тоже детдомовский», обращаясь к мальчишке-сироте, которого он усыновляет, понимаешь, что для нашего бывшего детдомовца это не простая реплика героя фильма, а глубокая, взрослая солидарность с маленьким человеком. И решение, которое он принимает, закономерно и естественно, этому его научила Родина.

Да, все мы — кровные дети нашей Советской страны. Об этом думаю, прижавшись спиной, словно к спине товарища, к моей березке, родной сестренке нашего военного детства. Вон какой острый след оставило на ней небрежное движение чьей-то руки. Не могло ли не оставить глубокого следа в наших душах одно лишь прикосновение к войне в детстве, жизнь в ее огромной грозовой тени? И все-таки

то было настоящее детство, заполненное многими, чисто ребячьими заботами, то было детство, спасенное Родиной. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора...»



Содержание

| | |
|----------------------------|----|
| У березы (Вместо пролога) | 4 |
| Письмо | 6 |
| Второй голос | 10 |
| Артиллеристы | 13 |
| Песня | 17 |
| Ножик | 19 |
| Ледоход | 26 |
| Пионерская клятва | 28 |
| Игры | 31 |
| Лес | 36 |
| Вера Андреевна | 40 |
| Параньга | 43 |
| Кролики | 50 |
| Драка | 53 |
| Чемпион | 55 |
| Тетрадь | 57 |
| Фредик | 59 |
| Мария | 63 |
| «Я помню чудное мгновенье» | 65 |
| Май | 70 |
| Довесок | 75 |
| Соловей | 79 |
| Вести с войны | 81 |
| В Москву! | 84 |
| Победа (Вместо эпилога) | 91 |

Геннадий Алексеевич ПОЖИДАЕВ

БЕРЕЗА НА ТРОПЕ

(Повесть о военном детстве)

Главный редактор А. АРИСТОВ

Литературный редактор Г. Ильина

Художественный редактор В. Иванов

Художник М. Буткин

Технический редактор Р. Углова

Сдано в набор 10.5.78 г.

Подписано в печать 5.06.78.

Г. 18331. Формат 70×108/32. Бумага типографская № 2

Кг. 10. Высокая печать. Печ. л. 3,0. Усл. печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 3,707.

Тираж 75 000 экз.

Изд. № п/4711.

Зак. 718.

Цена 10 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР
103160, Москва, К-160

1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Цена 10 коп.

72991